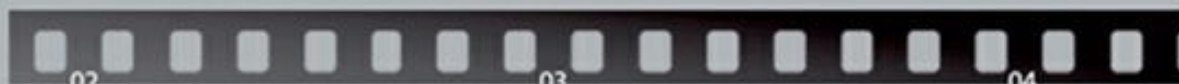


18+

Владимир Пшеничников



КОСТЯ ЕДЕТ НА ПОПУТНЫХ

повести

Владимир Пшеничников

Костя едет на попутных. Повести

«Издательские решения»

Пшеничников В.

Костя едет на попутных. Повести / В. Пшеничников —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-859608-7

Игорь Штокман, Москва: «„Не плагиатничай у народа!“ Таким укором можно, пожалуй, гордиться. Более того — его сначала надобно заслужить, то есть создать тот тип литературного сочинения, к которому подобный упрёк имел бы прямое и обоснованное отношение».Ираида Осипова, Москва: «От этих повестей остаётся впечатление подлинности. Очень интересно читать о настоящей жизни, а не об имитации в декорациях». Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-44-859608-7

© Пшеничников В.
© Издательские решения

Содержание

Привилегия человека	6
Текущий момент	11
Процедурная глава	11
Отоваренная среда	15
Долгая тарпановская ночь	24
Решительное отступление	36
Поднимается ветер	45
Внеочередная глава	51
Лёгкий сон в саду зелёном	55
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Костя едет на попутных Повести

Владимир Пшеничников

© Владимир Пшеничников, 2024

ISBN 978-5-4485-9608-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Привилегия человека *Вместо предисловия*

В тот год, когда в Гребенёвку уже не всякую неделю приезжала почта, в два месяца раз завозился баллонный газ, а клуб открывался лишь для размещения сезонной рабсилы, – весной этого самого года, в апрельский, предмайский уже денёк, описав широкий прицельный круг, приземлился на старом выгоне самолёт сельскохозяйственной авиации, тёмно-зелёный «кукурузник». Картинно встав в боковой двери, пилот охотно объяснил подоспевшим гребенёвцам, что посадка совсем не вынужденная – «отнюдь» сказал он, как сплюнул, – и в ближайшие часы тут будет размечен временный аэродром.

– Хозяин ваш на подкормку озимых с воздуха разорился, – сказал доверительно. – Есть в деревне голова, староста? Мне бы насчёт квартиры с телевизором определиться.

Принять усатого воздухоплатателя, назвавшегося Валерой Луньковым, охотно согласилась зардевшаяся Тамара Мигунова, хотя все знали, что телевизор у неё не показывает с зимы: успели зарастить следы острых коготков учётчиковой жены на Тамариных румяных щеках, но покалеченный в новогоднюю ночь телевизор починить всё ещё было некому. «Этот починит», – решили единодушно, глядя на молодца-авиатора.

А бригада уже сеяла. Матёрые трактористы, все трое, ходили в ночную смену, перекрещивали ячмень. Не имея привычки долго спать, на следующий день они явились на выгон, посмотреть, как идут дела у авиации, и без приглашений взялись сколачивать дощатую будку для передвижной электростанции, доставленной, минуя базу, прямо из города. С базы хозяин прислал погрузчик и двух вяловатых подсобных пареньков.

Ивану Петровичу Домашову довелось навешивать дверь будки, а попутно – править неловко сброшенный из самолёта на землю распылитель удобрений.

– Трубу помяли, изверги вы рода человеческого! – заругался Валера Луньков на подсобников после безуспешной попытки приладить распылитель на рабочее место; он тут же взялся за тяжёлый молот, и тогда Иван Петрович вежливо оттеснил горе-жестянщика и достал из инструментального ящика фунтовый молоточек и пассатижи.

Специалистом и Домашов ни в чём таком не был, кроме гусеничных тракторов и комбайнов типа «сибиряк», зато с некоторых пор стал точно угадывать правильный подход, знал это за собой и без заносчивости пользовался. Вот и здесь одного взгляда хватило ему, чтобы понять: проблема не в измятом раструбе, а в погнутых креплениях – их он поправил довольно уверенно и быстро. Подтащили распылитель под брюхо «кукурузника» – встал как влитой на место.

– За внешний вид не отвечаю, – сказал Домашов, возвращая инструмент. – Дюраль править вообще не советую.

Это и определило, кому из гребенёвцев прокатиться на самолёте первым.

Взлёт Домашову понравился. На короткий миг вернулся в детство, к полётам с крыши на копну соломы, когда дыхание пресекается, и холодок сжимает малое неоперившееся ребячество. Он засмеялся и, наклонившись к лётчику, потыкал пальцем в оглохшее ухо. Валера кивнул и показал глазами куда-то наружу, сам он был занят связью – взялся орать так, что при желании в городе его бы слышали безо всяких радиостанций.

Домашов прилип к окошку. Под ними, чуть в стороне, уже проплывали его дом и двор, помеченный белыми курами. Мелькнул стожок нестравленного сена, дальше по ходу – двор Василия Елькина... две брошенные избы... проулок... кузница и три комбайна в ряд... разбросанные без порядка плуги и бороны. Вдруг земля словно вздыбилась, Домашов отпрянул от холодного стекла, но тут же понял, что это разворот. Миновали Гнилой осинник, и Валера

повёл самолёт над Сухим долом, подступавшим к Гребенёвке с опустевшего её края. «Овраг», – отметил Домашов, занятый весенними видами.

«Какой овраг?» – подумал он озадаченно, обернулся было назад, но за крылом уже ничего не было видно. Домашов растерянно посмотрел на лётчика. «Что?» – спросил тот одними губами. И что-то сорвалось у Домашова внутри.

– Вернись! – крикнул он и завертел пальцами. – Зайди ещё разик!

И вот открылся красный, с мутным по дну ручьём, довольно глубокий овраг. Сверху он походил на варёного рака, растопырившего клешни, и несоразмерно большая правая уже кромсала старое гребенёвское кладбище.

Домашову захотелось на землю.

– Ты кого там разглядел? – лукаво спросил потом лётчик.

– Благодарю за полёт, – буркнул Домашов, соображая, как бы поскорей выбраться из воняющей химикатами машины.

На площадке он не задержался, зашагал в село. Уткнувшись в новое кладбище, перепрыгнул через канаву ограждения, пошёл напрямик. Спланированное и обвалованное лет десять назад, оно оставалось почти пустым. За это время из Гребенёвки гораздо больше было отправлено грузовиков с пожитками тех, кто находил себе место жительства на стороне, их провожали не скорбя, а благословляя, и, расходясь по домам, думали о том, кто будет следующим, со смутным чувством зависти и раздражения, а не горя или утраты. Про себя Домашов знал, что из Гребенёвки, если уж подопрёт, уедет последним. Он отрывисто вздохнул, увидев среди памятников железный крест на могиле тёщи, прожившей в его семье одиннадцать лет. Крест он заказывал сам, а ограду позже купил шурин, за тем только и приезжавший из своего Краснодара – отдать должок.

Жена уже с полмесяца обреталась у дочери в няньках, и Домашов, не заходя в дом, прихватив зачем-то с дровосека топор, наладился на брошенный конец Гребенёвки. Быстро миновал обитаемую серединку по задам, а дальше шагал, не таясь, улицей, уверенный, что никто здесь с лишними вопросами уже не прилепится.

За жидким ветловым перелеском должны были показаться верхние могилки, а с пригорка, поросшего чилигой, открывалось всё кладбище целиком. Домашов от нетерпения побежал туда и чудом остановился в одном шаге от зыбкого края крутого обрыва.

– М-мы-х! – вырвалось у него вместе с шумным от пробежки дыханием, и, не соображая, что делает, он запустил в овраг тянувший руку топор.

Косо стоял крест с шалашиком на могиле дяди Матвея, которую Домашов копал ещё до армии и хорошо помнил, что из ямы вынимали лёгкую красную супесь с крошками белого плиточника – её и размывал, обваливая тяжкими пластами, овражный ручей. Криво стоял и крест на могиле крёстной Дуняши, а от дедовых и родительских не осталось и следа. На дне оврага, в толще красного ила, лежали теперь кресты и прозеленевшие камни стариков, отцова железная пирамидка со звездой и материн, сваренный из уголка, крест, перекрашенные им лет десять назад. И всё растащила, растворила и рассеяла прах шалая вода.

Домашов глотнул пересохшим горлом. В трёхметровом обрыве он разглядел выщербленный срез узнаваемой формы и не смог больше тут оставаться. Наверное, надо было пойти вниз вдоль берега, поискать – но зачем? И что потом? Отвезти отцову пирамидку на новое кладбище?

– Могилки смыло. Много, – сказал Домашов Елькиной-тёще на улице и, бросив её стоять с открытым ртом, прихлопнутым сухонькой ладошкой, широко зашагал к дому. Потом бесцельно кружил по двору, гремел железками в гараже, налаживал новый топор. В какой-то миг остановился и чутко прислушался: что-то неясное, тревожащее долетело во двор с обычно тихой и пустой улицы.

– О-ох! – вскрикнула где-то женщина.

«Вот как живём, оказывается», – отозвалась в Домашове неясная покамест догадка. Он вдруг сообразил, что сам мог сто дней в году бывать на старом кладбище. Одной минуты хватило бы, чтобы вовремя заметить опасную подвижку оврага. Но нет, как и все, он был рад, что не зарастают могилы на скудной супеси, не просят ежегодного ухода.

– О-о, – кричала глупая баба.

Домашов стоял, зацепившись взглядом за старый скворечник. Вот как, оказывается: можно жить, презирая слинявшего в Краснодар, и жить при этом без памяти и без оглядки.

– Нельзя, – пробормотал Домашов и опустил голову, подошёл к гаражу и сел, привалившись спиной к двери.

Он помнил агронома Лещинского, засадившего межи в округе карагачом и клёном, а напоследок решившего подарить степнякам водохранилище. «Если вода в трёх километрах, – сказал преобразователь природы, – то это неправильная деревня», – и стал «выправлять» Гребнёвку. И ведь как стремительно-быстро соорудили земляную плотину в доли сноровистые сапёры и пехотинцы, уцелевшие на войне. Была сухая осень, дерновина поддавалась плохо, однако срезали, соскребли её, а дальше пошло совсем уж легко, и дело нашлось даже таким оболтусам, каким был в ту пору сам Домашов.

И вешним водам, очищавшим Сухой дол, спешить стало некуда. Водоохранилище – да пруд же, обыкновенная лужа разлилась километром ниже села. Года два по весне там бывал всякий, любясь невиданным количеством пусть и бесполезной воды. Полушутя планировали развести уток, построить водяную мельницу, малый ДнепрогЭС соорудить, но пруд не заиливался, вода в нём не держалась, а потом размыло и плотину, восстанавливать которую никто не захотел. Тогда и зародился овраг и пополз, разъедая суглинок и супесь, вверх и вглубь, вверх и вширь... Так можно было очнуться под развалинами собственного дома на дне этого оврага. Или не очнуться совсем.

Пора было собираться на смену, надеть хоть вязаную фуфайку, но он не решился войти в дом, не захотел встречаться с глазами отца, которые только и не тронул старательный ретушёр – преобразователь человеческих лиц, бравший карточку на увеличение и нарисовавший бате вместо гимнастёрки белую рубашку с полосатым галстучком. Провозившись со скотиной, к кузне Домашов пришёл последним.

Даже Колян-дембель примолк при его появлении.

– ... дочиста всё, – расслышал Домашов, но и головы не повернул в сторону говорившего, молча взобрался в кузовок самоходного шасси, отвозившего их в поле.

Разговоры обтекали его, и он был рад этому. Привалившись к низкому борту, делал вид, что придрёмывает, и на рытвинах голова его болталась очень натурально.

Сеяльщиком у него был нелюдим и молчун Петя Садиков – удачно. Этот всю смену будет стоять на подножке сеялки и даже при задержке погрузчика не подойдёт к трактору. Домашов сам где-нибудь после полуночи звал его в кабину перекусить.

Кивнув Лёхе-пэтэушнику, доложившему, что масло в левую бортовую он залил, солярку и семена заправил, Домашов запустил двигатель и с места повёл трактор на разворот, стараясь сразу поймать под правую гусеницу отчётливую маркёрную линию. Однако на маркёр не вышел, доруливать пришлось на поле, а этого с ним давно не случалось. словно свело лопатки, и рычагами он двигал под стать сопливому сменщику.

Только к ночи приладился к челночному движению по полю, перестал слышать грохот двигателя и лязганье железных частей, не чаще и не реже посматривал через пыльное стекло назад, чтобы вовремя включить или выключить гидравлику сцепки. Но и втянувшись в работу, не перестал чувствовать Домашов какой-то малярный озноб. Разве от того, что не пододел фуфайку? Но в кабине было тепло, сиди хоть в «холодном» пиджачке. Он о чём-то непрерывно думал – так, что ломило переносицу.

Погрузчик запаздывал, но Домашова бестолковые простои не трогали. Семена в конце концов подвозили, сеяльщик управлялся с брезентовым рукавом, разравнивал зерно локтем, захлопывал крышки, и он сразу же трогал на загонку.

На перекус Петя Садиков подошёл сам. Домашов впустил его в кабину, включил внутренний плафон, выбрался покурить наружу.

– Я нынче без кусков, – объяснился.

Петя тут же достал из сумки варёные яйца и два протянул ему.

– И сала на бригаду хватит!

– Ничего, заправляйся!

Домашов отошёл подальше от трактора. Смотрел, как выползает из дальней лощины жёлтое пятно света от погрузчика, переезжавшего к Коляну. Ночь была безветренной, влажной – мёртвой какой-то.

Петя управился быстро, позвал и предложил своего ядовитого чаю. От чая Домашов не отказался.

– Вот так, Иван Петрович. Только дикий зверь вины не знает, – проговорил Петя, устраивая сидорок в углу кабины. – Привилегия человека!

Он ушёл к сеялкам, вскочил на подножку крайней и уже дал знак, а Домашов всё смотрел на него в заднее окошко кабины и внутренний плафон выключил, уже тронув агрегат с места. «Привилегия», – повторял, не понимая.

Он вспомнил Петра Садикова шепутным безотказным шоферюгой, готовым ночевать в кабине залезанного «газона». С ним он жену с первой дочерью привозил из роддома. В метель, пробивая переносы, полдня добирались, но и мысли не было, что застрянут посреди степи и помёрзнут к чёртовой матери.

И вот как-то летом, после дождей, подносившийся «газон» не выбрался из Калинкиной лощины. Колёса осалила жирная глина, и неуправляемая машина начала сползать, ускоряясь. Не достигнув дна, «газон» угодил в промоину, повалился на бок, а потом и на крышу. Одну доярку придавило, трое остались калеками. Петю, переломавшего рёбра, таскали в прокуратуру, а за то, что грузовик не был оборудован для перевозки людей, досталось всем. Машину из бригады тогда же забрали, Петя сделался пастухом, и даже личной машины у него никогда больше не было.

Мог человек, конечно, и перепугаться на всю жизнь, но теперь Домашов подозревал, что не в испуге тут дело. Он знать не знал, выплачивал Петя дояркам или просто разговоры тогда прошли, а вот «привилегию», видать, заработал пожизненную. Теперь и Домашов почувствовал свою вину, как свежий тяжёлый горб, который не сбросить и на другого не переложить.

Равнодушно встретил он подоспевший восход и ездил с зажжёнными фарами до самой пересменки. Только отойдя от трактора к самоходке, почувствовал, как сильно устал за эту ночь.

– Ну ты даёшь, Иван Петрович! – восхитился учётчик, сбегавший к вчерашней вешке, Домашов молча, не понимая, посмотрел на него.

Самоходка двинулась в Гребенёвку. Петя Садиков угнездился возле кабины, закрыл глаза и уткнулся подбородком в воротник куртки. «Спать, теперь спать», – думал Домашов, но смотрел перед собой не мигая.

– Учётчик сказал, всё село на овраге собиралось, – говорили рядом.

– Какое село, хутор уже.

– До плотины шарились, только баранью голову и нашли.

– У бригадира поп знакомый, служили вместе в Афгане. Сказал, привезёт, пусть по науке рассудит.

– Рассуждай теперь.

– Да-а, ситуёвина...

А на размеченном флажками выгоне, сердито вспоминая прошедшую ночь, причитания Тамары о «мамакиных косточках», распухший нос её, готовился к первому рабочему вылету усатый пилот Валера Луньков. Уж он-то точно был лицом посторонним во всей этой истории, и ничто не помешало ему сказать вчера расстроенной хозяйке:

– А по мне, так надо сжигать труп мёртвого человека. Пепел – на ветер, а в спецжурнал – короткую запись. И память, и польза, и место свободное.

Тамара не расслышала или не поняла этих слов, но вспоминая их теперь, Валера прятал глаза и поёживался: свободного места вокруг было навалом.

Текущий момент

Черты из тарпановской жизни

*Писано цветисто, отрывисто, с фигурами, разные мысли есть;
очень хорошо!*

Ф. Достоевский

Процедурная глава

1

Был в Тарпановке один кобель, здоровущий-прездоровущий: брехнёт, брехнёт – на всю Тарпановку!

2

Этой побаской мы, в основном, и знамениты. У людей, посмотришь, космонавты, генералы, академики, а у нас вот – кобель. В другой раз и признаваться стыдно в безобидном своём тарпановском происхождении. Так что, пользуясь случаем, а также для заразительности примером, хочется с кобелиной этой ересью, с чушью собачьей раз и навсегда рассчитаться: дать научное опровержение и закрепить печатно.

Действительно, что такое Тарпановка в те полузабытые времена, к которым и восходит не столь похабная, сколь противная всякому здоровому смыслу сказочка? А это без малого три сотни дворов и мазанок вокруг пологой излучины теперь уже опаршивевшей реки Молочайки. Польшовская шумливая слобода. Три братских новорождённых колхоза: «Шеф», «Молотобоец» и «Нацмен». Это четыре улицы и двадцать четыре, может быть, переулка...

Да кобель с быка, с буйвола – с трактор! – обязан был быть, чтобы этакую Швейцарию, не сходя с места, озвучивать!

Но у нас, извините, не тот климат, не та еда и окружающая, в том числе политическая, обстановка, чтобы в животной неорганизованной среде таким феноменальным чудесам, хотя бы и в столетие один раз, совершаться.

Теперь – другое дело. Вернее, то же самое, но теперь вон и кудлатого щенка Шарика из конца в конец отчётливо слышно, не говоря о пастушеских зрелых собаках.

И тут бы, кажется, протрезветь и забыть все глупые выдумки невежественных дедов – мы же наблюдаем обратное. Уже и образованная осведомлённость не мешает переползать мистическим диким настроениям, и вслед за кобелём братанов Перепеевых воскресили.

Хорошо, давайте о братанах. Эти, говорят, в ночь-полночь возьмут чью-нибудь избу за углы и на польновский, либо молочайкин... молочаевский... короче, на овраг перестановят – окнами на село, крыльцом в пропасть. Причём за немедленный откуп избу возвращали на место, а за промедление, объясняемое хотя бы и крепким сном хозяев, сплавливали по речке. Проспятся сердешные: мать дорогая моя! волжеский пароход за окошком пыхтит.

Так вот. Прозрачный намёк на феномен физической силы предков мы отмечаем без развёрнутых доказательств. Это лишь по одной версии братанов было четверо, а по другим – и семь, и восемь. Возьмёмся за главное. Допустим, что в ту, ещё более древнюю, пору и вода в Молочайке была, и примем за факт довольно густое расселение людей тарпановского происхождения по волжским священным берегам вплоть до Астрахани. Но! Кто поверит, чтобы за одну ночь, без весла, без паруса, да на полтораста вёрст хотя бы и в лодке сплавиться?!

Да если бы на братанах и кончались примеры тарпановской пустопорожней ереси. Ещё, говорят, леса по округе шумели. Леса, леса... Обратное доказать так же просто и легко, но тут вот какое соображение.

Не может быть, чтобы отцы-основатели наши, пришедшие из не самых пустынных краёв, сразу вот это место облюбовали. Именно это – среди голых, выгорающих уже в июне бугров, жидких лесополос, в развилке даже и не ручьёв уже, а поганых оврагов. Нет, было, было, за что зацепиться поселенческому глазу, к чему прикипеть сердцу.

Было да сплыло, только мутные побаски и остались.

3

А всё эти партийные землемеры.

И богатой, и вольной была Тарпановка. Славилась волостным базарчиком. А коллективизация возьми да и достань её вооружённой рукой пролетарских уполномоченных с мучных складов города С. Возьми и сотвори целых три якобы братских колхоза: «Шеф», «Нацмен» и «Молотобоец». И откудова, ты скажи, и портфельный актив, и трипперные кашеварки выколупнулись – свистоплесень и соплегнус. Зато – простор землемерам! Смешной удой и темпы низкие? Укрупнить в целях развития и укрепления: из трёх колхозов один – имени Ильича. Не прёт и этот? Тогда так делай: из одного два – «Стахановец полей» и «Большевик». Отвоевались, культ похоронили – привыкай к скромности: из двух хозяйств – ни одного, шестая бригада колхоза «Победа». И славного, большого колхоза, но – бригада. А как уж Никиту на пенсию проводили, тут сам господь велел в голодранцы записываться: двенадцать годков «трудилковцами» звались из-за принадлежности к совхозу «Трудовой», оттяпанному вождями вновь огороженного района у соседней даже области.

И вот вам, наконец, пятая бригада сельхозкооператива (колхоза) «Маяк»: две семьсот пашни, шесть исправных тракторов, десяток комбайнов, дойный гурт один, овечьих две отары, свиньи – эти для внутреннего употребления, мухлежа и списания грехов. И сорок пять жилых домов всего. Тридцать бань по субботам топятся.

Намерили.

4

Однако ведь живы ещё тарпановцы и в Тарпановке. А старые люди и помереть в родном углу собрались: имеем, говорят, право. Хотя, конечно, из Долговки, например, последних бабушек не спросясь, силком, считай, в Мордасов перевезли. Всех троих. И нефтяники сильно довольны: не придётся наклонные дыры сверлить к преогромному, говорят, мазутному морю под землёю. Под нами же, слава Богу, ни морей, ни озёр, говорят, нету. Это и обнадеживает, хотя несколько и обидно.

Другой же ясный луч надежды (всё в этом же смысле) исходит от политической линии верховного руководства и депутатов. В прежние-то годы сколько тарпановцев, с семьями, с бабушками даже, в города и тёплые края поразлетелось. А теперь торопиться некуда – везде одно и то же, если послушать.

А мы и слушаем, и поглядываем. Ведь это только до райцентра Мордасова, до Волостновки, центральной усадьбы, нам далеко, а, например, Москва – вот она, только включи телевизор «Рекорд», разверни газету «Жизнь», послушай, на худой конец, радио – не всё же там черти рок гоняют.

Так что мы, как и весь россиянский народ, постоянно в курсе государственных дел, международных отношений, ацкого терроризма, указов и постановлений. Переживаем.

5

.....

6

А вот осведомлённость в смысле гласности, просвещения, слухов и политических анекдотов не мешало бы и поурезать. Подсократить и убавить. Можно и насовсем. Она же, как ядохимикат, накапливается, накапливается, а потом... ладно, если простым расстройством желудка дело кончится.

Взять, к примеру, хорошее, доброе дело: Мордасов в Тарпановку через газету лозунг «Малым сёлам – большую жизнь» задвигает. Но это для кого-то добро и хорошо, а наши, оказывается, что такое «большая жизнь» уже знают и откровенно посмеиваются. Руками даже вот так вот делают. Раньше такого не было.

Осведомлённость же ни к чему хорошему не ведёт. В государственных делах вообще ни к чему не ведёт. Из-за осведомлённости в смысле кривотолков и насмехательства не идут и сами государственные дела. Вчерашние братья, подразузнав кой-чего, уже друг дружке обоюдное обрезание голов делают. Другие за границу с землями, с живыми людьми и с товарами отделяются. А третьи посерёд дерьма хотят себе сладкую ягоду-малину вырастить и думают, что они мичурины.

И везде полно голых девок. Везде!

А надо бы брехню-то кончать, проводку обрезать и жить как жили, крепя дисциплину и порядок, мясо и молоко. Теперь это ещё не опоздано, если наши от осведомлённости покамест только посмеиваются и руками вот так – исключительно от недостатка воспитания – делают.

В Мордасов же сообщаем: нечего глядеть на этих надсмешников, делайте, как надумали. Большая там жизнь или просто – мы ждём.

7

И ещё не одного выслушал я, а то и прочитал на пробу специально написанное, поначалу и самому себе не вполне отдавая отчёт: а, собственно говоря, зачем? Всех подряд-то зачем? Поэтому здесь задним числом приведены даже и не самые яркие образцы, разве что более других связанные и, по возможности, не стихотворные, в которых тоже недостатка не оказалось. Впрочем, вот для ознакомления и стихотворный, а сам я, признаться, знаток этой стороны народного гения небольшой:

На базаре я была, видела Михея.

У Михея хрен большой, как у гуся шея.

Помещено в тетрабочке, озаглавленной «О дефиците в переходный момент времени и жизни». При прочтении именно этой тетрабочки и был мне знакомый, но всегда непредсказуемый голос: «Позовите, – шепнул, – серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду, и мы все, в первый раз, может быть, услышим настоящую правду».

Тут особенно, как всегда, хорошо вот это вот: «может быть». Прямо пароль какой-то. Напомню: «и если в этом хаосе, в котором давно уже, но теперь особенно, пребывает общественная жизнь, и нельзя отыскать ещё нормального закона и руководящей нити даже, может быть, и шекспировских размеров художнику, то, по крайней мере, кто же осветит хотя бы часть этого хаоса и хотя бы и не мечтая о руководящей нити?» Замечательное косноязычие!

Так что, пожалуй, и звать-то особо никого не надобно, а можно просто оставить тех, что есть, даже и с «Михеем» который – пусть поёт, если хочет, и приплясывает.

Так, благодаря сомнительной идее насчёт референдума «серых зипунов», в который, похоже, и сам-то Федор Михайлович особенно не верил, появились у меня *подручные*, на которых я и взвалил всё – или почти всё – дальнейшее повествование.

Но сказать два слова тем, кто уже решил, что это о его Тарпановке речь, думаю, необходимо лично. Причём таких наверняка найдётся изрядное количество, если даже мне были известны сразу две Тарпановки (номерные: Первая и Вторая), которых теперь уже и нет на земле, но и те остались обозначениями в паспортах и метриках, а, стало быть, и в чьих-то сердцах и памяти. А потому всем тарпановцам остаётся сказать, действительно, два слова всего: может быть.

Отоваренная среда

1

«Если ты, брат, ненароком усомнился в существовании Бога Живого, взгляни на Тарпановку, – начинает один из *подручных*. – Взгляни и возрадуйся: Бог-то ведь есть! А поколи Он есть, живым пребудет и сей разорённый, но не увядший натло уголок, сугубо хранящий и невостребованные силы, и чистые свои голоса. И час его не прошёл, а час великого посева ещё впереди».

Занятно. Да стоит ли приплетать Создателя там, где уместно хотя и менее возвышенное, зато более достоверное объяснение? Где одного взгляда по сторонам достаточно, чтобы прямо свидетельствовать: потому жива Тарпановка до сих пор, что в самые разорительные годы исхитрились сберечь животноводческую ферму. И благодарить тут надо всего лишь равно значительную удалённость от намеченных перспективных центров: не состоявшихся агрогородов и поселений, в которые, понагородив шлакобетонных комплексов, сгоняли скотину с ближайшей округи.

Тарпановская малая ферма – это, конечно, и коровы, и нагуливающий говядину молодец, и сплочённые, как лесные братья, скотники, ну, а прежде них – это семь доярок, чьи шестеро мужей составляют половину тракторной бригады, а двое ребят – треть учеников местной школы. Из-за доярок тут и фельдшерица, к радости пенсионеров, содержится, и почти новенькое грузтакси бригаде выделили по их настоянию. А дороги зимой разве для почтовой связи и праздной езды расчищают? Конечно, нет – это чтобы молоко возить на сливной пункт, ну, а скот, хотя и значительно реже, – на убойный. И ферма, отвечая на заботу посильной отдачей, между прочим, давным-давно настигла вполне процветающие заграничные страны по производству молока на одну душу коренного населения, а теперь, возможно, и на решительный обгон пошла. Не то, чтобы коровы тут взяли молоко больше отдавать, да коренное население, несмотря на общий успех, все же, что ни говори, а подтаивает, хотя и самым, в основном, естественным образом. Но хороши тут и общепринятые – поголовные – показатели, если время от времени, а верней всего, за первый, сугубо зимний квартал года привозят в Тарпановку переходящее знамя, и оно потом до самой просушки ночует на квартире у заведующего или бригадира, украшая и без того красную обстановку довольно просторных горниц.

Да, ферма – это и есть та опорная ось, на которой держится вся тарпановская жизнь и совершается её коловращение. А если кому, скажем, за хлебопашцев-полеводов несколько обидно, так ведь полеводство дело сезонное и колёсное, ради него ни школой, ни медпунктом, ни самой Тарпановкой никто бы и дорожить не стал – мало ли тому примеров на стороне. Хотя, конечно, при таком, не сказать, что одностороннем, но чересчур обнажённом подходе к прояснению истоков и первопричин, обиды на нас со всех сторон могут посыпаться.

Возьмите тех же ветеранов-бойцов, тружениц тыла, самых хотя бы обиженных изначально, или осколки интеллигенции, застрявшие в Тарпановке не только со времён великих переселений народов; ту же относительную молодёжь, которую хоть и на ферму не загонишь, зато уж претензий, обид...

Пошёл! Пош-шёл отсюда, Орепей поганый!.. Нельзя! Вывалялся где-то и лезет...

Вот так с этими отступлениями. Добро бы фундаментальное что-нибудь затевали, а то собрались текущий момент ухватить, а сами...

Да ты отстанешь или нет?! Пош-шёл вон, Орепей! Так-то славный кобелёк, но почему-то немой от рождения и приставучий, как... Орепей, паршивец, нельзя! От ушей до хвоста в какой-то гадости.

2

Повторно придётся отсюда начинать, с магазинного крыльца. На ободранной двери тут висят тяжкие запоры, и покамест тихо – народец в стороне собирается, основная, женская его часть уже подтянулась. Сама же торговая точка называется довольно затейливо: «КООП. Товары повседневного спроса №3. Волостновское сельпо». Однако повседневно за этой дверью можно обнаружить только груды чёрных бахил, изготовленных лет десять назад неизвестной отечественной фабрикой как бы для развивающихся стран, пару пропылившихся... полът, что ли? Стайку баночек с грузинским природным чистящим средством «Цеобен», стопку тюбетеек, но не узбекских, а заведомо интернационального покроя и расцветки, перемещаемых по полкам, может быть, ещё со времен Осоавиахима и повального увлечения авиамоделированием. Саратовскую гармонь с колокольчиками, которая всё же покупалась два раза, но возвращалась на место ещё в день покупки. Наконец, тщательно оберегаемый, регулярно протираемый специальной тряпочкой хрустальный рог (предположительно, изобилия), про который даже затрудняемся, как будет смешней сказать, что он весит почти пять кило, или только одну цену назвать: 227 рублей, положенных от государства, плюс 6 рублей 71 копейка гужевых. Есть, конечно, и другая, пластмассовая, в основном, мелочь, есть весы стрелочные и счёты деревянные, висят почти белый и совсем синий халаты продавца Зинаиды Павловны Калмыковой, а про веник в углу и служебного назначения мышеловки разве что для смеха упомянуть. Почему бы, скажете, не списать всё это одним махом? Можно и списать, но тогда и завозить придётся опять что-нибудь этакое, что-нибудь из «уценённого» мордасовского магазина, потому что забрось ходовое, действительно повседневное, мигом расхватают, и будет стоять не магазин, а сарай какой-то под замками, последние мыши разбегутся.

Но два раза в месяц тарпановская торговая точка название своё все же оправдывает полностью, и происходит это во вторую и четвертую среды, называемые в сельпо «вывозными», а в Тарпановке – «отоваренными»; сегодня и есть отоваренная среда, вот для чего народ.

Ладно, пока они там собираются, ещё несколько деталей в пищу изыскателям грядущих дней. О талонах, карточках, визитках им наверняка известно, а мы возьмём вот эту тетрадь в клеточку, где слева изображён список тарпановцев, а направо, по урезанным сверху страницам, Зинаида Павловна (теперь придётся сказать, что сами тарпановцы свою продавщицу чаще всего называют просто Калмычихой, хотя к матери её, тётке Зое Калмыковой, уважение полное и безоговорочное), пользуясь то карандашом, то ручкой, помечает отоваривание условными знаками собственного воображения: водка – птица, сахар – крест, мыло – минус, чай – плюс, стиральный порошок – снежинка, шампунь – скобочка, одеколон – двойная птица, спички – копирайт, а керосин ею отмечается в литрах: три, пять, семь и так до пятнадцати.

В списке же первой значится фамилия бригадира Артёмова, но будь он хоть Хромовым, как дядя Илья, все равно именно на этом месте стоял бы. Далее идёт счетовод Иван Михалыч Кирин, затем Шоков Василий Кузьмич (имеется в виду Шока, заведующий фермой), четвертым стоит Г. И. Морозов, прозванный Правой Рукой, и уже после них, в беспорядке, инвалиды-бойцы и труженицы тыла, и на них мы специально задерживаем внимание будущих историков нашего смутного времени. Дело в том, что бойцы и труженицы имеют в каждом месяце по два льготных знака: звезду за мясо и кружок за двести грамм сливочного масла крестьянского. В июне заслали бутербродное, обезжиренное, так инвалид Дробышев дядя Коля велел председателю сельпо Мосину подавиться им, расшиб дверь в магазине и с крыльца, будучи в сильнейшем волнении, чуть вперёд головой не спустился; масло же, бутербродное, пока не растаяло, Зинаида Павловна разделила подвернувшимся труженицам, а дядя Коля своим домашним обошёлся. Не велика трагедия оказалась, но в чём-то и дядя Коля, без сомнения, прав. Вот. И только лишь после ветеранов в списке, в прямом соответствии с российским алфавитом, идут рядовые потребители, кончая Федей-Фаридом Шафеевым и тётей Полей Янсон. Между этими последними и упомянутый Илья Иванович Хромов записан, хотя, если посмотреть списки актива, то он ближе всех к бригадиру Митяю, заведующему Шоке и к Правой Руке

Морозову окажется: Илья Иванович даром что классный механизатор-пропашник, рекордсмен по кукурузе и подсолнухам, он ещё и член ревизионной комиссии всего колхозного кооператива.

Порухить этот порядок попытались тарпановские доярки, но Зинаида Павловна (в данном случае, истинно Калмычиха) сунула им под нос тетрадку, разукрашенную знаками отоваривания месяца за три, подержала так, чтобы в глазах зарябило, и раз и до конца года отрезала: «По новой я эту галиматью переписывать не стану! Нашли дурочку». Ну и действительно. Хоть бы раз за всё время в списочном порядке выстроились – не было такого. Да и нет среди собравшихся перед крыльцом пока ни одной доярочки. Телятница тетя Маня Гагаркина пришла, разнорабочие сёстры прибежали – Шура Машина (фамилия – Вашурина; вообще Вашуриных когда-то много было на Тарпановке) и Маша Шурина (Луговая, потому что замужем маленько была и сыночка прижила, Петю, он теперь учётчик в Тарпановке), домохозяйки Елена Васильевна Воеводина и Веруня Морозова подплыли. Ещё там пяток старых бабушек, за которыми девяностолетний дед Устимов возвышается – умеренный, достойный старик, предположительно, ветеран-колчаковец и иноверец в православной тарпановской среде... а! вон и почтарь Мозговой на служебном велосипеде показался.

3

Итак, наступила очередная отоваренная среда в её наиболее полном варианте. То есть, ожидался и сахар, и мыло, и увеселительные напитки. Откуда-то было известно, что сахару положили по 850 граммов на едока ввиду августовского его перерасхода. Тогда, поддавшись демократическим – анархистским, в сущности – настроениям, отвалили по два с половиной кило, но вместо компотов и джемов только самогона и бражки напрудили, хотя, конечно, и варенье, и компоты тоже были изготовлены, даже и в Тарпановке, из овражной ежевики, в основном, и наливных мелких яблочек. Разговоров об умышленном вредительстве именно из-за удавшихся компотов не было, хотя в районе, переживавшем самый разгар уборочной, и комбайны простаивали целыми звеньями, и зерно полными кузовами валилось не на тока, а с шатких мостиков в грязные речки вместе с автомобилями, и скоропостижные безвременные похороны произошли, не говоря о рядовых приводах в милицию. И вот пришёл черёд платить урезанной смешной нормой сахара, но не роптали. И о вредительстве речь не шла, и не роптали.

Когда около магазина собралось, считай, все население, регулярно принимавшее участие в отоваривании, нарисовались те, кто раньше и дороги-то к магазину не знал, поручив, казалось, навсегда этот маршрут жёнам, матерям, тёткам и добровольным посыльным. Теперь же посыльные у Зинаиды Калмыковой, вооружённой списками, не проходили, за исключением, между нами сказать, старика Мясоедова, читаки – местного как бы попа, чью долю Зинаида вручала матери, идущей в православной тарпановской среде под вторым номером, и та доставляла продукты, иногда присовокупив ещё и свою уточку, со словами «прими, отче», хотя была моложе «отца» ровно настолько, чтобы не поклоняться ему, а, скажем, заниматься неторопливой, размеренной любовью, состояние здоровья обоих вполне это позволяло, а временами и требовало.

Тут надо заметить, что, несмотря на регулярное местное снабжение, выезды в другие, более оживлённые торговые центры и помощь удалившимся детям и внукам, денежные ресурсы позволяли собравшимся, не сходя с места, взять и по мешку рафинада или песочка на едока, и по упаковке мыла, и по бутылке французского, лучших сортов, коньяка на нос; а мужчины потом бы обязательно вернулись и – апортэ, сильвупле, анкор юн (то есть, ещё одну) бутылочку... Но сказано же: и радо бы государство удовлетворить этот шанхайский спрос, да нечем.

Пока припозднившиеся мужчины разминались, перекидывались случайными словечками и простыми выражениями, слегка задевали с разных сторон пенсионеров к естественному их удовольствию, женщины давно уже и в который раз увлечённо вспоминали прежнее снабжение, и даже заспорили малость, выясняя, девяти или шести всего цветов мулине приходили в московских посылках. Сошлись всё-таки на шести, имея в виду, что теперь-то и настоящих чёрно-белых ниток, хотя бы сороковой номер, днём с огнём в магазинах не сыщешь.

– А какие, девки, трапареты для вышивки продавали! – вспомнила Шура Машина. – «Сестрица Алёнушка», «Остров Буян»... Растянешь на пальцах – и куляй крестиком. До света сидишь – охота глянуть, какое личико, теремок какой получится.

Выслушали её молча, не много уж заядлых вышивальщиц по селу набиралось: второй после самой Шуры была красавица Соня-немая, а старым старухам, бабе Фене Ласточкиной да бабе Моте Касаткиной, например, некому было и простую нитку в иголку вдеть.

В мужской же среде несвязные речи в какой-то момент стугутились на межнациональных отношениях, и счетовод Иван Михайлович Кирин, довольно начитанный и житейски мудрый человек, выступил с аллегорией о том, как клёпки в бочке захотели самостоятельными быть. Одна говорит, хочу в резном шкафу красоваться, другая – хотя бы в наличнике, третья... у всех, в общем, местечко облюбовано. Ну, поднатужились, поднапёрли – лопнули обручи! И нету бочки – куча гнутых, провонявших рассолом досочек валяется. А была необходимейшая вещь. Вот и самостоятельность, вот и суверенитет-винегрет. Аллегория понравилась, и разговор окрепнул не только от непечатных выражений, он пошёл в ширину, и при этом довольно споро.

И гуляло на безоблачном с поволокой небе октябрьское, как бы прощальное солнышко. Светлые лучи его, утратившие летнюю оголтелую беспощадность, едва ли грели в огородах намерзшиеся, нахолодавшие за ночь вилки белокочанной капусты, высвечивали прощальный наряд палисадников, проникали до дна ручейка, бывшего когда-то рекой Молочайкой, золотили в заречной стороне поизреженный осинничек, подкрашивая изумрудом озимую рожь на шестом, видимом из села на три четверти, поле. Ни ветерка.

Раза два с Матвеевой шишки, чуть различимой от магазина, поднималась туча чёрных носастых птиц, и тень её, как от рыболовной сети, невзначай накрывала собрание. Под набегающей лёгкой тенью поёживалась, передёргивала плечиками красавица Соня-немая, чувствительная, как и все неравномерно развитые организмы, ко всяким атмосферным явлениям, но самой птичьей стаи она не замечала.

Заметил пернатых Луговой Петя, учётчик, и тут же мысленно взлетел следом, так как несбыточной мечтой его второе лето подряд был дельтаплан служебного назначения с моторчиком, но, уже набрав подходящую высоту, он неожиданно вспомнил, что на четвёртом поле допахивает «балалайки» Михаил Петрович Воеводин, на седьмом – молотит подсолнухи Дмитрий Иванович Кутырин, а поскольку это означало тащиться туда с сажнем и производить вычисления по всем трём известным формулам, Петя тут же потерял интерес к свободному полёту.

Между тем с высоты полёта сорной птицы можно было видеть, что события приближаются со скоростью вон того «москвича» с «шиньоном», пылящего к селу по волостновской дороге с севера, и не обещанный товар на нем едет, а бригадир Дмитрий Зиновьевич Артёмов, полчаса назад покинувший кабинет председателя Ужикова и ещё не сообразивший толком, каким наиболее безобидным способом донести до вверенного ему контингента последнее полученное распоряжение. Ему бы на лошадке ехать, помахивая для порядка и поддержания статуса кнутиком, тогда, глядишь, и план, и речь, и возможные последствия были бы им продуманы и просчитаны, а так, редко где притормаживая, выдумал он лишь какой-то снисходительный тон не распоряжения даже, а поклона-просьбы в форме «а ещё шлёт вам привет...» Ему бы хоть перед встречным самосвалом, отвозящим семечки от комбайна Дмитрия Ивано-

вича Кутырина на цен-тральный ток, остановиться, дать закурить водителю, ведь целый ящик махорки в подмоченных, правда, пачках на сорок восемь тарпановских курильщиков везёт по разрядке... Но нет, проскочил и мимо самосвала, уступившего к тому же и дорогу.

4

Закрываемая бригадиром дверца «шиньона» сочно щёлкнула в образовавшейся при его появлении тишине, и многие вдруг вспомнили, что время сейчас – рабочее. Поднятая было пыль поразвеваясь, и сейчас же из толпы ожидающих прозвучал невинный старушечий вопрос:

– А не зря ли мы собрались тут, Митрий?

Артёмов коротко оглядел ближайший ряд, но не нахмурился по своему обыкновению, а зачем-то широко и простовато ухмыльнулся:

– И очень даже не зря! – ответил.

Полсотни человек как бы разом вздохнули и загомонили.

«Может, сначала махорку раздать?» – мелькнула удачная ведь мыслишка в бригадировой голове, однако ноги уже несли его к мужикам, пускавшим на ветер (в переносном в связи с затишьем смысле) прежние табачные запасы.

– Ну, как там, в столицах? – спросил его Иван Михалыч Кирин, ещё вполне не переживший свою удачную аллегорическую насчёт клёпок.

– А в столицах вот какое положение, – Артёмов остановился и поиграл снисходительной усмешкой. – Пахать им ещё полторы тыщи гектаров и косить больше половины подсолнухов. Прсят помочь!

– Ещё чего, – вполне нейтральным тоном, без особенного какого-то смысла, но довольно внятно проговорил Николай Анучин и сплюнул себе под ноги.

– Действительно, – пробормотал Николай Оборин.

– Они, бля, змеи полосатые, привыкли там на всём готовом, а тут, язва, ко-лотишься как... Да ещё помогай им! – выдал скороговоркой Ванька Швейка.

– Да как же, один ведь колхоз, – ещё успел сказать Артёмов, а дальше только поворачивался да наливался краской.

Один за другим мужики и сигарки свои побросали.

– Ты же сам, Зиновеич, солярку по буровым добывал в уборочную, а они что? А они поплёвывали да письма в верхи сочиняли!

– Курить им не дали, они комбайны бросили!

– Твёрдую пшеницу докашивать, так из «Авангарда» звено заманули, а как на зябке мантулить, так и тарпановские сгодятся?!

– Не, ну какой дурак догадался нас к этому «Маяку» прицепить? Сами там мухлюют, измухлевались все, а мы по три месяца из-за них без зарплаты сидим. Платить нечем! Да столько оглоедов не токмо колхоз проедят!

– Там одних алкашей – сколько всех нас всего по деревне!

– Да отделиться от них к чёртовой бабушке!

– До Мордасова, до ихнего «Авангарда» нам на шесть километров ближе. Чё ж туда не прикрепили?

– Мантулим на Волостновку, а все дела в Мордасове.

– Да отделиться – и всё!

– Как я за ремнями к ним, так «нету, в центр поезжай», а теперь «помоги-и»!

– Ну, чё мы, правда, от волостновских видали? При совхозе и то хлеб каждый день завозили, уголь выписывали до пяти тонн, а этот размахали, а толку...

– Да отделиться, я говорю!

– А ты, Зиновеич, небось сказал «счас прискочим»? Расскаались, ага! Когда с чулпаном этим греблись, приехали они? Дали хоть пару «колосов»?

– Это, ладно, мы управились. А и не управились – всё равно на свои подсолнухи погнали бы. Как же, за один только план им по шесть окладов пишется! А ты и мешочек семечек не возьми!

– Мантулишь, мантулишь – всё двести два рубля...

– Да ещё бы им от намолота все получали. Иди ты, намолоти на этих солончаках, на шишках!

А Юрка Гавриков всё подзадоривающее «н-да!» вставлял, прямо цвёл, от одного к другому поворачиваясь.

На шум, между тем, потянулись несколько забуксовавшие на тряпочках-моточках женщины, а доярочки наши – первым рядом.

– И правильно! – вклинились их тренированные голоса. – Молочко-то каждый день да по два раза потягивают с фермы, а зарплату всё платить нечем. Пускай тогда садятся да сами за сиськи дёргают!

– На ихний комплекс-то, говорят, сахарок мимо списков подбрасывают. А нам хоть бы раз в квартал, хоть бы вермишели.

– Да, хоть бы по килограммчику. Сахар самогонщики перевели, а лапшу-то кто?

– А галоши глубокие тоже самогонщики слопали? А зубы теперь солью чистить?

– Лишь бы им на кого свалить!

– Да чего бестолку...

– Бестолку им!

– Им всё бестолку!

– Да ещё приедет да стыдит: на двести грамм ему надой снизили. Нечего нас стыдить! Раз ты председатель, учёный – делай, чтоб не снижали!

– Корова, поди, не трактор, чтобы зимой и летом одинаково гудеть!

– У них там и котельни, и богадельни – газ уже по дворам тянут! А тут по самые сиськи, что мы, что коровы, по полгода.

– Помыться, просушиться на фирме негде!

– Вы знаете что? – не стерпел тут заведующий Шока. – Вы эту политику кончайте. Сапоги им мыть негде!

– Да вот, и негде!

– У них, послушаешь, душевая, чаёк, как принцессы, попивают перед зеркалом.

– Да потому что, бабы, у них там центр, а у нас – Тарпановка! Чё ж не попивать, когда есть, на ком кататься!

– Автобусом на дойку ездют!

– А мы несознательные, нам всё сойдёт!

– Вот и посылай тогда сознательных!

– Пошлешь... Они пошлют тебя!

– Да разве я вам что-нибудь сказал?! – выкрикнул тут Артёмов. – Вы-то чего базарите?

– Мы базарим? Нет, мы – базарим! Да мы, чё ж, или вчера народились, тебе в рот глядеть?

Или мы тут по коврам ходим?

– И на ковры вам талоны выписаны! – крикнул Шока.

– Да подотрись ты этими талонами! На пол мне, что ли, ковёр твой стелить?

– Они-то, бабы, зарплату в центральном правлении получают! Не знают уже, чем рты нам позатыкать.

– Кто вам их затыкает, – обиделся и махнул рукой Артёмов. – Самим два раза уж повышали, а туда же...

– Куда же?

– Да на что они нам, повышения ваши? Живёшь как... Сходить некуда.

– Привёз экономистку расфуфыренную: будем, девчата, на гурт деньги выдавать, распределяйте сами – будьте хозяевами...

– Хозяевами, да! А я по ту пору молоку своему хозяйка, пока из-под коровы её несу. Вылила – и ваша она, не моя!

– Трубок ещё навешайте, чтоб мы совсем молока не нюхали.

– Нашли хозяев!

– Мы жизни своей не хозяева.

– Я сказала: девки, последний год с вами корячусь. К чёртовой матери провались!

– Энти и в колхозе путём не работают, и денюшки гребут...

– Да причём тут деньги! Деньгами они и хотят нам все дыры позаткнуть, чтоб уж всё – молчок! Сопи в две дырочки и план давай...

– Всё по плану, всё по плану: надо срать по килограмму. Хлеба дали двести грамм – как насерешь килограмм? – исполнил в паузе Ванька Швейка, но лишь тумака от супруги словил, а разрядить атмосферу не удалось и ему, только к женским голосам снова мужские прибавились.

Причём Михаил Кузьмич Шоков, старательно не глядя на брата-заведующего, сказал:

– Вот зовут они нас помогать, так? Это же на полмесяца, не меньше. А потом надо технику поставить и в отпуска сходить...

– Хм, в отпуска!

– А как же? Вытолкают, потому что сакман начнётся, на ферму перейдём до марта месяца. А ведь и нам говорили: будьте хозяевами, за конечный результат работаете. Какие же мы хозяева? Хозяева зимой снегозадержанием занимаются, бороны-сеялки, комбайны ремонтируют. А мы опять: как в поле ехать, так собак кормить.

– Да и не пошли бы на ферму, – вступил Пётр Прокопьевич Лоцилин, – где зимним ремонтом заниматься? В мастерской один только трактор под крышей устанавливается. И то – поставишь и ходишь кругами: того нет, этого.

– А они комбайновский цех, тёплый гараж для «бобиков» на наши денежки отгрохали. И вот увидите – ни одного комбайна от нас в ремонт не примут.

– По графику – один, – вставил Артёмов.

– Всё по плану, всё по плану, – начал вторым заходом Швейка, но тут же осёкся и показал пальцем вдоль улицы. – Во! Едет!

5

Прорвавшись через репейник, заполонивший брошенный двор Игната Бондарева, на Бригадную улицу выскочил всадник в развевающемся плаще и, поднимая отяжелевшую осеннюю пыль, наладился прямо к митингующим.

– Товара едет! – крикнул на скаку Чингисхан Мамаев и взмахнул камчой.

Все как-то разом посмотрели на магазин и увидели, что дверь его распахнута, а на крыльце стоят баба Феня Ласточкина да баба Мотя Касаткина – единственные, наверное, кто заметил появление Калмычихи и не имевшие интереса в общем толковище.

Чингисхан тут же спешил, бросил повторный клич в распахнутую дверь и сорвал с себя брезентовый плащ; его и Санька Корнеева, как добровольных грузчиков, первыми потом Калмычиха и отоварила.

Толпа решительно двинулась в сторону магазина, и бригадир Артёмов, остававшийся на месте, мог ещё услышать вялые доводы о том, что, мол, золотая погода для всех стояла, а те прогусарили, а теперь воют; что, если, мол, не осилите, нечего было столько распахивать... пускай сами работают, не надорвались...

– Если на то пошло, – сказал, задержавшись около бригадира, Борис «Фитиль» Меркушев, – то пора, командир, откальваться самим от этого «Маяка». Совхоз мы покушали, на «Победу» попахали...

– Уж ты-то попахал, – неожиданно зло откликнулся бригадир и, кажется, сам подивился прорвавшемуся тону. – При «Побед» тебя мама, поди, под фартуком носила.

– Отделиться-ото-всех-навсегда! – выкрикнули из ушедших вперёд порядков, и, плюнув, Артёмов пошёл к своему «шиньону».

«Хрен вы у меня нынче получите, а не махорку!» – подумал он, захлопывая за собой дверцу, как чужую, а пока жундел стартер, рядом с ним в сделавшуюся сразу тесноватой кабину уселся Шока.

– Моя тут, что ли? – спросил Артёмов.

– Моя точно тут, – сказал Шока.

И они поехали к заведующему.

В магазин же на этот раз из подошедшей автолавки выгрузили три мешка сахара-песка (значит, по килограмму всё-таки, и для фермы с ведро останется), три ящика азербайджанского напитка «Апшерон», а также изрядное количество припухших банок скумбрии и окислившихся, пропитавших обёртки ягодных вафель, которые разошлись потом в виде нагрузки: скумбрия – к сахару, а вафли – к звездастому, по три пачки.

Товара хватило на всех. Вафли, например, испробовали и некоторые единоличные коровы, и молоко наутро дали не парное пресное, а слегка как бы даже игристое, и поросята, говорят, кой у кого заметно так прибалдели. Но и некоторые чересчур экономные тарпановцы чаёк в тот вечер не с сахаром, а с этими ягодными попивали – и ничего, никаких видимых последствий.

А вот в том закутке мастерской, где пока что бездействовал водогрейный полукубовый котёл, где распробовались сразу три экземпляра звездастого и поначалу был спор, означают ли буквы БЛВЗ на головках сам столичный город Баку или все же ликёрку городка Б., – именно там ближе к сумеркам и послышалось вдруг:

– А председателем будет Санёк! Будешь, Санёк? А ты, Юрк? Соглашайтесь, а то опять Артёмов или Шока усядутся!

И хотя митинговые страсти утишились, однако же основному мотиву так и не дано было развеяться. Где за чайком, а где и за рюмочкой мысль о разрыве с проклятушим «Маяком» развивалась, ширилась и укреплялась.

«Нам до Мордасова ближе на шесть километров», – повторялся один фактический аргумент, но местами высказывалось и желание существовать вовсе независимо и суверенно и построить, наконец, и свой клуб, и центральную котельную, и общую баню с трёхъярусным полком, а, может быть, и пекарню, чтобы не гадать два раза в неделю, свежий хлеб привезёт «Фитиль» или заранее окаменевший. Было посчитано, что при местных потребностях даже полный суверенитет мог бы обойтись не так уж дорого: в клубе, например, достаточно, чтобы конные всадники целиком на экране помещались, а под другие публичные места, как-то: правление и сельсовет, – можно бригадный дом приспособить, переселив медпункт в какой-нибудь брошенный, но, конечно же, всем миром отлаженный домок. Дорога же на Мордасов была прямая, хотя и глубоко местами размытая, по которой и сейчас возили учеников в интернат, а больных в районную больницу.

– У нас все есть, – слышалось. – И сроду мы центральные путём не признавали. И не в Долговке, а у нас церква была, – имелся в виду бывший зерносклад, строение, действительно, мрачное, хотя и без креста на полусшибленном кумполе.

Витек же Пиндюрин, приехав домой на Заразе, услышав от жены довольно ясный пересказ дневных событий, сначала, разумеется, поинтересовался насчёт батареек для транзистора, а потом как-то незаметно увлёкся, и уже через полчаса его осенило:

– А при отдельном колхозе и школу бы десятилетку открыли, а, Валь? Тогда бы и Виктория Викторовна, и Жека, и Пека с нами были, а Юрке бы они учиться помогали... О, Валь! А ты бы учительницей пеня пошла! Пошла бы?

Валя Пиндюрина, точно, была певуньей. Начнёт на ферме бидоны мыть, так просто концерт по заявкам. Правда, с мотивами у неё туго, три всего – «калинка», «катюша» и «подмосковные вечера», – но по содержанию сотню, может быть, оригинальных произведений отечественной эстрады всех лет за нею насчитать можно было, включая даже «Хабибу».

Бедновато насчёт новых идей в чисто стариковских домах оказалось, да ещё, например, на квартире у Зинаиды Павловны Калмыковой. Шофёр автолавки передал ей вместе с накладными отдельный ящичек, в котором отыскался заказной товарец и как бы премия за растоваривание центральных магазинов и складов. Ничего особенного, конечно, но мама Зоя потащила своему духовному отцу и положенный ему паёк, и две банки сгущённого молока, и китайского долгоносого риса хороший кулёк, а также тёплые меховые рукавицы, обшитые фланелью. Содержимое премиального ящичка Зинаида Павловна распределила по двум сумкам, причём одну принесла, а за другой спланировала сбегать, когда мама вернётся. Чтобы не маячить на крыльце, она предусмотрительно освободила от внутренних запоров боковую дверь, и теперь та держалась на одной только жидкой контролке. Вспоминая об этом, Зинаида Павловна мысленно поторапливала мать, но ожиданием особенно не томилась. Верней, не ожиданием томилась она... Ещё верней – ожиданием, но чего-то неопределённого, неизвестного. То есть, известного, конечно, но далёкого и недоступного именно в этот насыщенный всякими волнениями день. Сбирала посылку дорогому сынку в Челябинск, а думала совсем-совсем о другом. А в телевизоре, как нарочно, пили вино, смеялись, обдуривали закон и целовались взасос.

По-разному, в общем, заканчивалась эта отоваренная среда, как по-разному действовала и дневная зараза, пущенная бригадиром Артёмовым. Особенно деловой оказалась одна тайная встреча у порушенных плетней на берегу Полюновки, о чём участники её и дали потом пару намёков, но не станешь же её целиком придумывать.

Долгая тарпановская ночь

1

И наступила тихая, таинственная ночь.

Только страдающий недостатком воображения абсолютно беспамятный индивид может утверждать, что и по ночам Тарпановка столь же пуста, скучна и понятна до самого доньшка. Куда там! Смеем утверждать, что в таких вот тарпановках и прячется всё таинственное, занимательное и непостижимое расчётливым умом, вооружённым цифрой и логикой. Да, если и прячется, то именно здесь. Но мы не станем описывать те недоступные атеистическому измождённому сознанию скрыпы и шорохи в заколоченных срубах, блуждающие в развалинах огоньки и фосфористические сполохи, не будем передавать этот сбивчивый говорок, вылетающий из-под берега угаснувшей речки, не поведём даже и особенно доверчивых к подножию Матвеевой шишки, к тому склону, где рабовладельческими, прямо египетскими постройками выступают плиты песчаника, исписанные инициалами, именами и любопытными признаниями многих и многих тарпановцев, и где в такие вот ночи вдруг... Но оставим эти метафизические излишества. Хороша и разнообразна тарпановская ночь и без метафизики.

При полном отсутствии уличного освещения (лишь за Польшовкой, над силосной ямой, горит одинокая лампочка), Тарпановка преобразается. В трепетном свете звёзд и редких окошек, отдающих голубым из-за неистовствующих в этот час телеэкранов, кажется, что брошенные дома вступают на равных в общий порядок, и хозяева в них просто улеглись спать пораньше, а не отправились давным-давно на вечный покой или в чужие края для более разнообразного проживания. И молчание улиц кажется тогда каким-то коренным и одухотворяющим. Хочется стукнуть в ближайшее окошко, вывести сонного хозяина на улицу и показать ему, дать послушать эту величавую тишь – пусть проникнется и перестанет, наконец, держать в голове всякую мелочную ерунду, а подыметесь душой и всей волей своей к тому, что называется...

Но порывы приходится сдерживать. Можно стукнуться в окно и так до утра и простучать, потому что, скорее всего, угодишь именно туда, откуда и многотерпеливые пенаты поразлетелись. А стучаться в освещённое окошко... Витек Пиндюрин батарейку спросит, Санёк Корнеев – закурить, да и прочие, если и постоят, то из вежливости, а потом уйдут дошивать что-нибудь, дохлёбывать щи, дочитывать газетку или досматривать телевизор. Дело известное. И остаётся нам гулять просто так, серыми кошками, которых и в действительности не так уж и мало перебегает туда-сюда пустынные улицы.

2

«Рисковать так рисковать», – решил Семён Антонович Зюзин и навалил на телегу третий мешок комбикорма.

Плоховато было, что коньячок нынче выдали, не каждый захочет расстаться с ним в обмен на мешок всего, но троих, точно, расколоть было можно. Причём, что интересно, не зажиточный это был клиент, а прямо наоборот – малоимущий. Ну, разве что лично не употреблявший и знающий спиртному одну лишь цену натурального обмена. Натуру Зюзин и погрузил на ловкую свою таратайку, обильно смазанную в трущихся частях именно по случаю отоваривания, с предусмотрительно приспущенными шинами. Мягкий, неслышный ход был обеспечен, только Гнедой будет пофыркивать и ёкать своей селезёнкой.

Вообще сходных клиентов было пятеро. Ближе всех, через проулок от магазина, жили Самсоновы, тётка Груня с дочерью. Между прочим, немая могла и сама свою живность сполна обеспечивать, так как наяривала в разнорабочих, а они все свиарник обслуживали. Но в свиарник, правда, сытней дроблёных отходов пополам с землёй ничего и не завозили сроду. Сле-

дующая клиентура – сёстры Вашурины. Маша к тому же писалась Луговой, а вместе с сынком её, учёчиком Петей, на этот двор приходилось три бутылки – запросто отдадут одну. На той же Нижней улице жили Рататуев Кузьма Иванович, затворник полнейший, и почти что соседка его тётя Поля Янсон – у этой хоть и один поросёнок всего, зато нынче, вместе с квартиранткой-учителкой, они две бутылки огребли. Как запасной вариант Зюзин имел в виду «попа» Мясоедова, однако на того когда как угодишь, даже и в отоваренные дни. А начинать следовало с Рататуева.

– Н-но, Гнедой. Давай окружную, – негромко распорядился Зюзин, усевшись на телегу, и повозка неслышно снялась с места; теперь через Польшовский мост, мимо кладбища – и на мордасовскую дорогу, чтобы с дальнего конца заехать на Нижнюю; дальше Рататуевым переулком можно и на зады переехать. – Н-но! – посмелей шумнул Семён Антонович.

В ноябрьское отоваривание очередь производить натуральный обмен выпадет Валюну Жигину, и неизвестно, какая ещё погода будет стоять. А пока хорошо: сухо, не холодно, хотя ветерку можно бы и подуть – постучать ставнями, пошуметь в палисадниках. Но и так сойдёт, без маскировки. Ни Шоки, ни бригадира на вечерней дойке не было, авось и теперь ещё припугают.

«А то говорят: с нахальством родились, с нахальством помрём», – попробовал размышлять Зюзин, но толком не прояснённый вопрос – будут начинать в ночь или с утра – перебивал всякую иную мысль. Последний раз принимали всякую мешанину в воскресенье, трое суток тому, и Зюзин тогда перебрал малость. Не пожарный был случай, одеколон мог и до утра полежать в укромном месте, но что ты будешь делать с гадской натурой. В горницу его жена не пустила, ужинать не дала, и он сдуру завалился на горячую, по случаю пирогов, печку. Среди ночи, отбиваясь от кошмаров, стянул с себя рубаху, брюки – до трусов разделся – и полезли под бока спичечные коробки, валенки, склизкая дрянь какая-то приклеилась к пояснице... тьфу! А ни в понедельник, ни вчера – ни капли не перепало. И при таких исходных до завтрава ждать?

«А заеду к Ваську-сварному. Скажу потом, граняк долгу отливал – должны мы человеку или не должны?» – такое возникло оправдание. Васёк, конечно, компаньон занудливый: выпьет – только про свою лахудру райцентровскую и говорит... Нет, верней всего, ноги сами унесут к бродяге Стеблову. В землянке – воля. Хоть и наврёт Стеблов, а ухочешься.

Дорога выпала насквозь спокойная. Завернув в Рататуев переулок, уходивший вверх до самого магазина, а вниз – до речки, и по которому, соответственно, мог кто-нибудь пройти и в этот час, Зюзин, однако, до того осмелел, что, не укрываясь на зады, остановил Гнедого, прикрутил вожжи и пошёл стучаться в жёлтое окошко. Постучал – и прямо во двор, договариваться.

– Семён, ты, что ли? – окликнул его проворный однако же Кузьма Иванович.

– Ну, – отозвался на ходу Зюзин.

– Или привёз? А мы ведь, золотёнок, без борова остались, свезли на скотмогильник, – показалось, он даже всхлипнул там, в темноте сенец. – Пудов пяти, золотёнок, был, не меньше.

– Да как же? А я и не слышал.

«Хорош почин», – недовольно отметил про себя Зюзин. Кузьма Иванович затянул какую-то жалобную ересь, но лучше бы выслушивать его с бутылкой в кармане, разгрузившись.

– А свинку мы, думаем, до рождества на картошке продержим. И прошлый привоз наполовину цел.

В прошлый раз Жигин развозил дроблёный подмокший в ворохах ячмень.

– Беда одна не ходит, – зачем-то сказал Зюзин и распростился.

Так. Гнедой пусть постоит, а к тётке Поле и к сёстрам придётся добежать. Ну, если и там... Но там-то как раз очень даже весело и бойко получилось. Словно бы ждали его, и он чуть было у сестёр второй мешок за ту же бутылочку не свалил.

Но вовремя прикусил язык, а с другим экземпляром звездастого они расставаться пока не захотели.

– Да твой же будет, – сказал Шура. – Привёз бы силосу возок.

– Силос, Шур, покамест никто, – заметил Зюзин, – не улежался. Ты прокисшее молоко станешь есть? Не-ет, дождёшься простокваши. Так и в данном примере. А вскроем яму, привезу, конечно.

Бутылки он обернул опроставшимися мешками и, похлопав последний, самый тугой, собрался ехать тем же проулком вверх, к Самсоновым, а с «попом» решил вообще не связываться. От Самсоновых в любом случае прямой путь лежал к бродяге Стеблову, и это обстоятельство хотя и веселило, но и смущало Зюзина. Валюн, конечно, обидится, но если его сейчас вытащить, скажем, в баню или в какую-нибудь развалюху, то следом непременно сразу две ищейки кинутся, и не удовольствие получится, а непредсказуемое зло. Нет, от Самсоновых – к бродяге. «Скажу, в крайнем, что две всего отоварил», – придумал Зюзин, хотя третья осталась ещё под вопросом.

– Шевелись, Гнедой, – слегка подстегнул он бескорыстного и бессловесного сообщника в промежутке между Нижней и Бригадной, за домом Калмыковых, мерин вдруг фыркнул, остановился и переступил назад.

Взмахивая вожжами, Зюзин и сам вроде заметил неясную тень, шмыгнувшую влево, на зады к Меркушевым, но Гнедой не двинулся, и что-то такое Семён Антонович почувствовал впереди справа. Не понужая мерина, осторожно соскользнул на землю и мягко пошёл вдоль шиферного забора. В жидком полусвете он уже видел, что кто-то сидит там на земле, прислонившись спиной к забору, и мелкие иголочки волнующе кольнули трудовые ладони. По белой шапке и светлой дутой куртке он узнал Калмычиху, и последние шаги его сделались даже несколько развязными. Он и каверзный вопрос придумал:

– Что, ужралась на дармовщину? – выдохнул, наклоняясь и стремясь разглядеть, трусы это или голые ноги сверкают у продавщицы из-под собравшейся юбки.

– Уби-иц, – тихо прошелестело снизу, и Зюзин отзывчиво хохотнул: «убивцем» бродяга Стеблов называл крайних размеров мужскую гордость.

– Ну-у, это тебе, Зин, с голодухи показалось, – пошутил Зюзин, а продавщица вдруг тяжело, набитым кулём повалилась и упала на правый бок.

Зюзин наклонился, даже присел перед ней.

– Хм, семками жареными пахнет, – поразмыслил.

И вдруг ему показалось, что Калмычиха перестала дышать.

– Э-эй, – позвал он осевшим враз голосом.

3

Устроившись перед образами по всем молитвенным правилам, тётя Зоя Калмыкова истово засвидетельствовала веру свою в Единого Бога, прославила Его в трёх лицах, призвала милость Его размеренным чтением покаянных тропарей и, произнеся двенадцать раз «Господи, помилуй», приостановилась в раздумье.

На этот час в доме она была одна, телевизор выключила сама Зинка, уходя в магазин убраться и за какой-то сумкой, гостей она не ждала и, значит, ничто не мешало ей выступить по наиболее полной программе. После тропарей следовало обратиться к Пресвятой Богородице («милость излей на страстную душу мою»), помолиться Честному Кресту и уж тогда подать небольшое прошение: «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наша...» Потом... ох, не забыть ещё «за всех и за вся» произнести!.. и уж потом, потом приступить к исповеданию грехов. Писанные или фактические называть – так тётя Зоя за всё время культурных молитв и не определилась, но даже от писанных в молитвеннике, подслушав однажды, дочка родная по пятаку глаза выкатила: «Неужто же так, мама?» Глупая! Сказано, «Иже содеях во вся дни живота моего». Да и фактический грех, какой ни возьми, то под «слово», то под «дело» подходит. И нечего тогда распев портить – поди, угадай, на какой букве ударять в новых словах,

в канон вставленных. И давно бы следовало спросить истину у Никитушки, да все как-то... В грехе самую себя ведь не помнишь никогда, да на то он и грех... А нынче Клавдюшу Горкину нехстати принесло с яичками. И Никитушка от неё принял. Сама и на службах-то раз в году бывает, а ведь приветил. Как ровню ей, как... Ох, грех, грех... Читать надо. «Оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостязанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, мшелоимством, ревнованием, завистию, гневом, памятозлобием, ненавистию, лихоимством и всеми моими чувствами: зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца, прогневах, и ближнего моего онеправдовах». Никто не мешал, и читка удавалась.

– Винна себе Тебе Богу моему, – размеренно каялась тётя Зоя Калмыкова, когда вдруг послышалась некая возня под окном; порывисто вздохнув, она принуждённо перешла на частоговорку, – прешедшая же согрешения моя милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сил...

Теперь зашумело на крыльце, и раздались удары – прямо, скажи, пинки – в дверь.

– Яко Благ и Человеколюбец! – невольно прокричала тётя Зоя и, крестясь и включая попутное электричество, поспешила в сени.

– Да кто это так стучится-то? – спросила, не приближаясь к вздрагивающей двери.

– Открывай, тётка, надорвался, – с истинной натугой прозвучал мужской голос.

– Надорвался, так к фельдшернице ступай, – глядя в потолок, посоветовала тётя Зоя, угадав в прищельце пропойцу Зюзина Сёмку.

– Да Калмычиху твою припёр, святоша ты херова! – заорал Семка. – Открывай!

– Гневаться грех. А наши все дома, – сухо ответила тётя Зоя.

– Ну, всё, бросаю к чёртовой матери, и разбирайся ты сама!

На крыльцо легло что-то, и литые сапоги протопали прочь. Дверь была даже не на засове, и, видно, у Семки, действительно, рук не хватило, чтобы потянуть ремешок щеколды. Притащил что-то... Если Зинка велела? Помедлив ещё, тётя Зоя неслышно сняла щеколду и потянула на себя дверь. Свет пролился на улицу, и она увидела на крыльце родную дочь. Пуховая шапка на самые глаза натянута, руки разбросаны, юбка задралась.

– Сё-ёмка, Сём! – вырвалось.

– Ну? – Сёмка вышел из темноты с сигаркой в зубах. – А ты не верила.

– Живая она? – прорезался шёпот.

– Сама глянь. Оп-па! – Семка подхватил распростёртую на руки, выплюнул сигарку и переступил порог.

Дальше были суета и пелена. Тётя Зоя кричала «тута!» и бежала срывать покрывала и подушки с кровати. Потом снова «тута!» – и стелила на диван простыню. «Узко!» – и спаситель раскладывал диван, переложив дочь на пол. «Да как же так-то!» – а пуговицы на этой раздувайке не давались в остекленевшие пальцы, выскальзывали, не расстёгивались. За водой, за полотенцем... полотенце в воду... опять пуговицы склизкие...

– Да это кнопки, тётк, рви на себя!

От мужского голоса тётя Зоя кинулась опрavlять юбку на дочери... замок щёлкнул, разъехался, юбка поползла из-под раздувайки... краем простыни прикрыла... шапку сняла.

– Дышит, – вдруг сказал Сёмка. – Вздохнула сейчас... Во, во, гляди – дышит! Спирт нашатырный тащи!

– Дышит, – прошептала тётя Зоя и опустила колени на пол.

– Я подумал, пьяная под забором валяется... Зин, ты слышишь? Давай, тётк, за нашатырём... Зин! О, мать, глаз дёрнулся! Давай, давай, просыпайся.

Дочь вздохнула и открыла глаза.

– Слава Тебе, Господи, – с чувством произнесла тётя Зоя. – Спаси и помилуй нас!

И ясное сознание вернулось к ней. Она ещё попросила милости Божьей на долю неожиданному спасителю покоя и чинности дома своего и поднялась на ноги. В известном смысле был соблюден и порядок христианский. Дочь повела глазами, и тётя Зоя проводила Семку на кухню, зачерпнула ему кваску свекольного. Вернулась. Зинка сидела на диване, держалась за виски, чуть покачивалась.

– Мама, он сумку у меня вырвал, – прошептала.

– Он, дочк, на руках тебя принёс, Сёмка Зюзин. Ногами стучал и выражался.

– А кто же тогда? – взгляд у дочери миг от мига делался вострее. – Поддай этому, в холодильнике начатая стоит. И не отпуская пока, я выйду.

– Халат надень, юбка-то...

– Я туда схожу. Дай булавку.

Тётя Зоя отцепила свою булавку и, покачав головой, протянула дочери.

– Не озоровал? – спросила.

– Мама! – Зинка сверкнула глазами и поднялась, подтягивая юбку. – Не озоровал. Какая разница.

– Я давно говорила тебе: днём дела делай.

– Иди, подавай ему.

Тётя Зоя усадила Семку поближе к столу, а когда выставила полулитру, он ещё и сам придвинулся. Тут же, правда, вскочил, сходил к порогу разуться и снять шапку.

– С закуской, тётя Зой, больно не мудри, – сказал. – Мы больше рукавом привыкшие. У Стеблова сидим – чем закусить? А вот, говорит, курятина, – Семка показал тёте Зое папиросы, – а вот ведро гидроколбасы из колодца!

Подшаркивая подошвами сапог, вышла Зинка. Подозрительно взглянула на Сёмку, пока тот не видел, а когда он обернулся, вежливо улыбнулась.

– И где же ты меня подобрал, спаситель?

– А, да на углу прям, в проулке, – охотно, взглядывая на обеих, объяснил Сёмка. – Ехал. Ну, там... ехал себе. Гнедой встал, я вылез. Гляжу – ты.

– С головой что-то... и сердце, – дочь показала руками. – Выйду я. А ты, Семён Иваныч, уважь, посиди.

– Антоныч я, – просиял Сёмка. – А с нынешней торговлей, точно, будет голова-сердце! – Дочь вышла в сени, и он повернулся к столу. – Перехожу, тётк, на самообслуживание, – отчеканил. – А рюмкой разве валерьянку пить... Давай уж мне квасную кружку, все одно я её обслуживал.

– Сём, а вас никто не видал? – спросила тётя Зоя, вынося миску кислого молока из припечного чулана.

Не отрываясь от кружки, Сёмка прижмурился, выцедил до доньшка, двигая острым кадыком, а оторвавшись, шумно перевёл дух; тётя Зоя облизнула сухие губы, поморщилась.

– Под руку, тётк, никогда не встревай, – заметил Сёмка, нюхая ломоть ситного. – Помнишь, Моргунок на ферме у нас работал? Сидим раз в красном уголке. Он тянет. Заходит Валюн Жигин. Моргун, говорит, ты Гнедого опутал? И Моргунок захлебнулся! Еле отколодили. А Гнедой стреноженный был, что интересно... Нет, никто нас не видал.

– Ну, поешь, – смиренно сказала тётя Зоя.

– А ещё, тётк, другой случай был, – Сёмка за кислое молоко взялся. – Собрались у Стеблова. Зимой. К нам Швейкя... ну, Иван Зотиков, ты его знаешь, прицепился. А флаконов штук пять всего, что ли. Зинаида твоя ещё каждый день магазин открывала... Ну, и вот. Как Швейкю с хвоста сбросить?

Тётя Зое хотелось прибрать в горнице после переполоха, но она не уходила, терпеливо слушала и, может, и невпопад, головой кивала. Когда Сёмка закончил свою срамную историю, она, побоявшись, что встанет и пойдёт, даже улыбнулась ему.

– А ты уж допивай, сынок, кому её беречь, – сказала радушно.

– Шас, тётк, – мотнул головой Семка. – И молочко ж у тебя! Моя у кого только ни брала на закваску, а все дрисня какая-то получается. Я и молоко, тётк, добыю. Знаешь, как у татар она называется?

«Не слушай Ты его, Господи, – сказала про себя тётя Зоя. – Сам видишь, какой».

Тут вернулась, наконец, дочь и на Сёмку посмотрела спокойней.

– Легче мне, – сказала, стаскивая сапоги, потом куртку. – Ты уж, Семён Антоныч, не говори никому, – попросила. – Начнут языки отрёпывать. Ещё при случае и упрекнут: не нужна, мол, больная.

– Нужна! Как это не нужна, – горячо откликнулся Семка. – Мы же, Зин, понимаем, что не из-за тебя магазин пустой. Работай! А я молчок. Тёте Зое вот говорю: молоко у вас зае...

– Может, с собой возьмёшь?

– Не понял. Молоко, что ли?

– Почему? Мы ведь с мамой тоже кое-что получили. Много уж наполучали, а всё стоит и стоит.

– Я без денег, Зин, – сухо сказал Семка, обращаясь к миске.

– И ничего, – нашлась тётя Зоя. – Прими, сынок, с благодарностью. Прикажи богу за тебя молиться.

– Да ну, – смутился Семка и вдруг вскочил. – О, бабы! Так у меня золотой мешок в телеге лежит. Фабричный комбикорм! Я вам его через забор кину.

– И не надо, не надо ничего! – всполошилась почему-то дочь. – Не надо. Не требуется.

«Как это не требуется?» – подумала про себя тётя Зоя, но промолчала. И Сёмка пожал плечами. А когда принесли из горницы бутылку, сразу поднялся, надел сапоги и шапку, но в дверях ещё какую-то похабшину понёс, хоть выталкивай. Наконец, убрался. Тётя Зоя сходила подпереть за ним сенешнюю дверь, а когда вернулась, дочь сидела за столом и наливала себе в розовую рюмочку из другой – третьей уже – бутылки.

– Дочк, ты зачем это? Ты что?

– Нет там никакой телеги, – глядя перед собой, недобро проговорила Зинка.

– Значит, он? – тётя Зоя растерялась.

– Ничего не значит. – Дочь как-то по-чужому опрокинула в приоткрытый рот рюмочку, поставила. – Не он, – сказала. – Посветила я на углу – другой след, ботиночный. Видать, ждал, а потом смылся. На песке все видать. Не озоровал. Я, наверное, сама повалилась.

– Неужто Борис?

Дочь усмехнулась.

– Не обязательно. К этому в телегу сунулась – нет ничего. Ну, жиганула лошадь, пошла куда-то.

– Ох, Зинка, Зинка, – покачала головой тётя Зоя. – Говорила я тебе.

Дочь вскинулась было, но кричать не стала. Налила ещё. Перечить тётя Зоя остереглась.

– А чё в сумке-то было?

– Чё было, то уплыло. Начну-ут теперь... У-ух, перестройка грёбаная!

– Зи-ин.

– Чё Зин? Чё Зин-то? Иди укладывайся! Да богу своему помолись. Довольная?

– Да чем же я...

– Ид-ди ты с моих глаз, провались совсем! Ну, чего уставилась?

Тётя Зоя нашла в себе силы прикрыть глаза, молча, осуждающе и как бы прощая, покивала головой. Не в обморок же валиться перед всякой говнючкой, прости Господи... Торговать она, положим, от неё выучилась, а вот жизнь прожить – это ты давай сама. Давай, давай... И тётя Зоя ушла в горницу, а там и к себе за занавеску. Треволнения все же сказывались, и она чуть не оборвала пуговку на кофте, когда раздевалась. Задерживаться не стала, сразу легла.

– Ма-ам, – позвала Зинка из кухни. – Мам, – повторила от двери. – Ну, и молись, причндаливай, – прошипела и хлопнула дверь.

«На кровать не придёт, в кухне теперь свалится», – подумала тётя Зоя. Пришлось встать и выключить свет в горнице.

Полежав в темноте, согревшись, она выпростала руки из-под одеяла и прочитала самую последнюю за день молитву. Память у неё была хорошая, а рублями да килограммами она её на всю жизнь забивать и не собиралась.

Молитва была такая: «В руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой. Ты же мя благослови, Ты мя помилуй и живот вечный даруй ми. Аминь».

Как говорится, засыпающий на руках отца спокоен в своём пробуждении.

4

Управившись по двору, мать и тётка оживлённо хлебали чай в теплушке, а Петя Луговой смотрел в горнице телевизор и потягивал коктейль, изготовленный из смородинового компота, колодезной воды и умеренной порции коньяка. Подсыхая, губы у него делались липкими, и он нарочно пукал ими, задерживая дыхание: па, па, – смаковал и пойло и картину, в которой люди жили шумно, рискованно, но всласть. Разлагались, а он с усмешкой помечал моменты, где иностранный киношник не затемнял бы кадр, а уж высветил, так высветил бы: и пипи, и сиси, и взаимное положение партнёров. Но и так ничего. Он хотел было позвать водохлёбок, чтобы поплевались, но раздумал. Погружал губы в мелевшую пиалушку, втягивал согревшуюся смесь. Балдел.

Тётки (до пяти лет он их обеих звал мамами, до семи – Маша-Шура, а потом – «эй», «ты» или вовсе никак) то возвышали голос, даже покрикивали, обращаясь к кому-то воображаемому, а то начинали шептаться, шуршать, как тараканы по газетке, но Петя не вникал, не раздражался, как всё чаще бывало.

«Вторую, заключительную серию, – заговорил с экрана мужик, похожий на папу Лугового, – вы увидите завтра в семнадцать часов двадцать пять минут. По окончании программы „Время“ смотрите...»

Петя опростал пиалушку, потянулся, заломив руки над головой, и свалился на диван. После «Времени» ничего интересного не предполагалось на сегодня. В теплушке застучали стаканы, задвигались табуретки – сейчас явятся тётки и станут донимать его: «А это, Петь, кто?» Недавно он от скуки решил проэкзаменовать их насчёт хроники внутренних событий, и оказалось, тётки помнили всё: армянское землетрясение, перепись, выборы депутатов и когда съезжались они в Москву, взрыв в Башкирии, забастовки, с кем Горбачёв встречался и куда ездил с супругой. Теперь тётки каждый вечер ждали, что в Верховном Совете передерутся, и начнётся война. Петя сел, давая им место на диване, а потом надумал сполоснуть пиалушку коньяком да и употребить обмывки без посторонних глаз. Самочувствие у него было что-то не очень.

Употребив граммов сто, он покружил по теплушке и решил взглянуть, работает ли телевизор у тётки Поли Янсон. Подсел к окну, двинул занавеску – и отшатнулся, до того гнусная рожа глянула на него через двойные стёкла. Рожа ослабилась, и он узнал алкаша Зюзина. Погрозил кулаком. Тот подкатил глаза и начал что-то изображать: морщил нос, морщил губы, наконец, показал руками, как бабы платком покрываются и на шее завязывают.

– Эй! – позвал Петя телезрительниц. – К вам тут жених прибыл.

Поворчав, тётки, однако, живо собрались и пропали. Всё с ними ясно: натуральный товарообмен. Взглянув на экран, Петя совсем выключил звук и вытащил из-под стопы «комсомолок» купленную в понедельник книжонку.

Главное, явившись в Мордасов на грузтакси, отвозившем интернатских, он и не думал подходить к киоску, хотел только каталоги запчастей на почте полистать, но «Фитиль» задер-

жался в больнице, и от нечего делать пришлось подойти. За Егоровну торговал её развесёлый муж Николай, ну, и всучил книжонку. Сразу Петя не заглянул, не вчитался, а вечером, когда заглотнул махом, понял, что с Егоровной пора дружить и наезжать в райцентр чаще.

«Дошло и до нас», – подумал он, невольно цепляясь глазами за отчёркнутые места. Такого ему в напечатанном виде читать ещё не приходилось. Попадалась, конечно, изготовленная вручную порнуха, но она не задевала так, не изумляла, в неё и не верилось-то особо. Убедительней были игральные карты, но и про них один друг сказал как-то: «пропаганда», – и Петя думал, что только на секунду они там склеиваются в невоспроизводимых позах, а так... Тут же все было иначе: книга. И цена, и автор, и ясные буквы на хорошей бумаге. Это его и проняло. Петя и сейчас ещё, пробегая знакомые строчки, поглубже вздохнул из-за подмывающей какой-то стеснённости в груди. Перевернул страницы.

«Я погрузился в невыразимо сладостное, самое сокровенное, что есть у девушки, и тут же почувствовал, как моё тело, слившееся воедино с её, забилося в экстазе любви, и он не кончался... конвульсии переходили от меня к ней и обратно, сотрясая и иступляя нашу плоть».

«От меня к ней и обратно». Петя не был девственником, но ничего подобного ещё не испытывал. Хозяйка, у которой он стоял на квартире, работая по протекции папы Лугового дежурным мордасовского радиоузла, преподавала один-единственный шумный, но грубый какой-то урок, а затрёпанная телефонистка Роза, с которой иногда укрывались после его дежурства между шкапами АТС, чуть ли не сразу начинала приставать: «Все? Все, что ли?» – а если и дёргалась сама, как спутанная, то кричала «ой, ой, мамочки» и тут же убегала к своим наушникам. Может, оттого и кричала, что про наушники вспомнила?.. В Тарпановке же вообще было по нулям. Он и к Маньке Швейке не ходил, хотя, трепались, подпой только Ваньку её, и примет...

«Моё нетерпеливое, дающее сладость и боль существо отвердевало в ней, и она это чувствовала. Мы поднимались, напрягаясь и извиваясь в объятиях, к вершине страсти и вдруг спустились с неё в сладостных судорогах, полных неги и расслабленности. Всё кончилось, а мне было так же хорошо, как и в самом начале, и это было простым и верным признаком настоящей любви».

И это прятали от народа пердуны-бюрократы!

Тётки вернулись со двора, и Петя прибавил звуку спортивным новостям, переходящим в прогноз погоды.

– Теперь, гляди, к Поляхе свалил, – услышал Петя, и вдруг у него родилась идея.

Сложив книжку пополам, он сунул её в карман, глянул на себя в трюмо и снял со спинки стула свитер с оленями. Повалил расчёской чуб вправо-влево и решил обойтись без кепки. Куртку надел летнюю, блестящую, со стоячим воротничком и жёлтой «молнией». На примолкших тёток не обращал внимания, но, уходя, все же вспомнил о них.

– К почтарю, заказ на запчасти к «Восходу» сдам, – соврал замысловато. – Потом похожу... Смотрите, не запритесь, окно выбью!

Хотя в последнее время Петя все чаще напускал на себя дури, но не любил этого, самому противно делалось.

Свет у тёти Поли Янсон, у которой второй месяц квартировала учительница Марина Ивановна, был только в теплушке, телевизор там уже не смотрели. Петя пошёл было мимо, но увидел, скорее, почувствовал впереди Зюзина на телеге и свернул к углу, в полную темноту. «Скажу: а вы фантастику читаете? – стал придумывать. – Нет, надо же ещё втереться сначала. Ученье – свет, сказать. Просветите, мол, аборигена, дайте какую-нибудь книжку про зверей. Или про войну... Или сразу про любовь. А потом, уходя, свою оставить». Петя сбился, сам себя сбил. Нет, надо свою книжку сразу в руке держать. Совал же Николай ещё «моду» какую-то, говорил: кабину обклеишь, славная будет компания. Надо было взять, ещё лучше пред-

лог: навязали, мол, в нагрузку, а тётки мои... Причём тут тётки-то ещё! Петя отвалил от угла и пошёл прямо во двор. Уж и просто по-соседски нельзя? Город у нас?

– А постоянщица, Петь, не то к Пиндюриным ушла с вечера, не то к Зое-медичке. Живая девка, скучает. А вы дружите или знакомиться пришёл? Юрка Манькин раза два приходил, сидел тут, да, скажу тебе, не глянулся.

Кое-как отвязался Петя от разговорчивой шабрихи. Надо было сказать ей: подвяжи язык, а то насовсем квартирантка сбежит, – но поздно сообразил. Куда теперь? Проще всего к Пиндюриным, потом и проводить, если там... А возле медичкиных окон его как-то по весне электрик Попадейкин прихватил. «Э-э, друг, – ухмыльнулся, – так ты, может, и по баням до сих пор подглядываешь?» Нашёл, что сказать. Огласки, насколько можно было убедиться, не случилось, но электрика Петя возненавидел крепко – слышать о нём не мог.

Заворачивая в Рататуев переулочек, он опять чуть не наткнулся на Зюзина, пыхтящего с каким-то грузом на руках, но вовремя отступил к Меркушевым под клёны и остался незамеченным. Ну, коммерсант! Знает, кого и когда обирать... Петя обошёл в сумраке подводу, хотел было пугнуть лошадь, пусть ищет потом, но пришла более удачная мысль. Он вернулся к телеге, пошарил – и нашёл! Уже взял в руки обе бутылки, но подумал, что так не шутка, а наглость и воровство получится, и оставил себе одну, а вторую назад, в пустые мешки сунул. Самочувствие его сразу улучшилось.

Но к Пиндюриным он топал зря – Марины Ивановны у них не было. Витёк начал какой-то ерундой об отдельном колхозе глушить, но он вырвался всё же.

– Так ты чего хотел-то? – удивился его бегству Витёк, но Петя и тут нашелся, его как прорвало нынче.

– Забыл тебе сказать сразу. В понедельник с «Фитилём» в Мордасов ездил, там большой привоз в культмаге. Батарейки всякие, магнитолы японские...

– Ничего себе «забыл»! – заорал Витёк. – Завтра уже четверг! Слушай, дай мне «Восход» на завтра, всё равно сам не едешь.

– Потому и не едешь, что сломан, – сказал Петя. – На Заразе скачи!

– Да пошёл ты... «забыл» он!

«Ночь спать не будет», – подумал Петя и вышел на середину Верхней улицы. Не к медпункту же идти, хотя вон он – два окна полыхают. По некоторым соображениям медичка была ему предпочтительней, ближе, что ли, хотя бы по нынешнему своему положению, но всё с ней давно стало ясно: для того и приехала в Тарпановку, чтобы легче мужа откуда-то дожидаться. И на виду, и без лишних соблазнов. Был момент, когда Петя решительно заявил: «Дождёшься ты у меня!» – но потом перегорел, остыл, перехотел. Лишь ненависть к Попадейкину осталась.

Он двинулся по обратной дороге, зажав бутылку, как гранату, и недалеко от Воеводиных снова вышел на Зюзинскую подводу. Отступил, было в бурьян, но вовремя заметил, что телега пуста и, взмахнув бутылкой, шуганул лошадь с дороги. Потом ещё вожжами подправил к Кутыриным на зады – или встанет там, или будет кружить до утра... так и надо!

На Бригадной, в свете воеводинских окон, он увидел самого возчика и хотя подмывало сыграть с ним ещё какую-нибудь штуку, посчитал за лучшее укрыться.

– Ну, куда черт унёс, – внятно произнёс Зюзин, поворачиваясь из стороны в сторону, и в руке у него блеснула бутылка.

«Два – один», – ухмыльнулся Петя: скотник всё равно выигрывал.

Наконец, Зюзин что-то решил и пропал со сцены. Петя спокойно дошёл до своей улицы, покосился на окна Калмыковых, откуда долетел какой-то крик, и вдруг его разобрала зевота. И хмель проходил, и гулянье по свежему воздуху, наверное, сказывалось. Сидеть и ждать неизвестно чего? Лучше уж сразу домой. Да и подход к Марине Ивановне не мешало продумать тщательней. «Живая девка», – сказала тётка Поля Янсон. И тоже скучает...

– Гнедой, паразит, ты где?! – раздалось неподалёку, и Петя поспешил убраться с улицы.

«А если Зюзин её напугает», – подумалось во дворе. Но сказано ведь: живая. Такую Петя ещё сильнее хотел бы заставить бегать за собой и улыбаться. Пряча бутылку в дрова, он подумал: а не прихватить ли её специально для очередного захода, для знакомства и посиделок? Но вряд ли это была самая удачная его мысль за истекшие сутки.

5

Обычно, слегка перебрав, Артёмов видел во сне голубых супоросых свиней, крысиную свадьбу или бегал от бахчевника деда Пантелея, но тот каждый раз успевал выстрелить и метко ошпаривал зад солью, – наутро после такого сновидения давал знать о себе геморрой. Иногда он собственными руками долго и замысловато умерщвлял супругу, то и дело справляясь: «А так вам не жмёт, уважаемая?» Сегодня же, едва устроившись на правом боку, зорко увидел вдали трактор типа «С-100», жёлтого цвета. Он не пахал, не культивировал, просто ехал себе стороной – похоже, новый совсем, полчаса как с платформы. При этом он аккуратно, без растерзаний и излишних надругательств, подминал кустики божедревника, самосевные подсолнухи, сквозные деревца тоненькие – они просто пропадали под гусеницами и больше на белёсом фоне не маячили. Слово не трактор шёл, а уют, однако слышался и аппетитный стрёкот, говорящий опять же о машинной мощи и полной исправности узлов и агрегатов. В молодости Артёмов захотел бы и сам на таком поработать, а теперь подумал: «Наши увидят, скажут: купи...»

Тут была первая несообразность, ни с чем в реальной жизни не связанная. Разве имел он право что-нибудь покупать? Ничего и никогда. Давали – брал. И не хотел, а брал. Но и угощал инженеров, чтобы не забывали Тарпановку при дележе настоящей, необходимой техники: полноприводных колёсников, комбайнов «Нива» и гусеничных «алтайцев» – тряских, тяжёлых, но выгодных даже и трактористам.

Нет, глаз было не оторвать, как шёл трактор. И вдруг он, изменив тон, повернул прямо на Артёмова. Далеко ещё был, а его уж стала окутывать ватная слабосильность, сбивала с мысли покорность. Трактор всё ближе, вместо товарного знака – какая-то вывеска на передке. Артёмов глянул, кто же там за рычагами, и не увидел никого. Махнуть рукой, крикнуть – некому. И трактор стал его давить, подминая как подсолнух, но больно не было, не хрустели кости – сделалось так, что нечем дышать, и сердце...

– А-а, – просипел Артёмов и проснулся.

Душно было в их спальне, похрапывала рядом Настя, отвалив всё одеяло на него. Артёмов сбил одеяло в ноги, повернулся носом к стене и несколько раз глубоко, для вентиляции, вздохнул. Закрыв глаза и сразу увидел «С-100» вдали. Он не пахал, не сеял... всё повторилось, и Артёмов со стоном проснулся. Улёгся на спину.

– Ты перестанешь вертеться? – поинтересовалась как бы сквозь сон Настя, и Артёмов почёл за спасение вообще выбраться из постели.

– На диван пойду, – шепнул, забирая подушку; но прежде, чем устроиться на новом месте, пошёл напиться на тётчину половину. Зная крепость сна блаженной мамы, включил свет и прямо на столе увидел кружку с водой. Тёплая, да мокрая. Артёмов перевёл дух, взглянул на часы, самые точные в доме, и выключил свет.

Вроде разгулялся. И голова оказалась не такой тяжёлой, как могла бы, – правильно делал, что сразу взял «руководство» в свои руки и где не доливал, где не допивал. А Шоке хоть ведро ставь – ноль эмоций, только нос синееет и глаза разбегаются. Артёмов устроился на диване. Подумал: а что если с утра продолжится вся эта буза насчёт выхода из «Маяка»? С Шокой они быстро эту тему прикрыли, но зашёл с вечерней дойки Правая Рука Морозов и сказал, что, в общем, не понимают людишки.

«Так уйми, – отмахнулся было Артёмов, – ты же у нас политик. А пока вмажь и не ломай компанию».

Морозов пить отказался, и вообще – как топор повесили в летней Шокиной кухнёшке, когда он вошёл.

«К утру перебесятся», – поддержал Артёмов хозяин стола.

Но Морозов только ухмыльнулся.

«Когда эти народные фронты появились, – сказал он, – там, наверное, тоже вот так руками махали: пусть, мол, пар выпустят! А литвины точно на отделение бьют. И на Кавказе головы не с чучелов летят, – он загибал пальцы для убедительности. – И братки-шахтёры – как сказали „садимся“, так и сели ведь, и нянчить себя заставили!»

«Нет, я чё, против, что ли? – поневоле пришлось включаться Артёмову. – Ну, зашумят. Я скажу: понял, никто никуда не поедет. Будем сами тут... в носу ковыряться».

«Да не в том дело, – вздохнул Морозов. – Когда с совхоза на „Маяк“ переключали, шума не было. А почему?»

«Считается, в колхозе все моё», – вставил Шока и засмеялся.

«Посчитали, не наше дело, начальству видней, – Морозов был настроен серьёзно. – Теперь этот номер не пройдёт, теперь нам видней. Теперь так должно быть, как мы порешим».

«Ты политграмоту нам не читай, а сядь да выпей, да закуси», – Шока подвигал сковороду, чашку с огурцами, принялся нарезать сало.

Морозов махнул рукой и убирался, но Артёмов он расшевелил, лишний раз пришлось вспомнить, что зарплату им из Волостновки возят.

«Хозяин ведь не просто сказал «помогите с зябкой разье... он условия поставил», – по второму разу начал Артёмов, но Шока его уже ничем не поддержал, не успокоил – он дошёл до края, за которым мог только пить без меры, есть, мычать песни и показывать какие-то штуки пальцами.

Настя прошлёпала тяжёлым привидением в сумраке, зажгла на тёщиной половине свет. Потом хлопнула дверь.

«Ну, ладно, отделяться так отделяться, – принуждённо думал Артёмов. – А как? Процедура нужна. Передача основных фондов... а кому? Значит, что-то придётся тут решить сначала, материально-ответственных лиц назначить. А кем? Из „Маяка“, допустим, уходим – ни правлению, ни общему собранию не интересно... Вот и надо их процедурой бить!»

Он услышал, как вернулась со двора Настя, зевнул и потёр лицо. За всю уборочную и стаграмм не выпил, а сегодня разрядочку сделал, и голова варит, как начищенная.

– Ты выпил? – Настя, стоя на свету, показала пустую кружку.

– А? Да, – Артёмов приподнялся на локте.

– Молодец! Мама же крестила перед телевизором. Ей же помогает.

Артёмов смутился.

– А я голову ломаю, с чего бы песни играть потянуло.

– Гляди ты, развеселился. Турнут вот, будешь знать, – жена потянулась закрыть дверь.

– Э, Насть, ты это... зачерпни ей из бака.

– Ладно уж умничать.

Но, видно, и Насте не хотелось слушать мамакины причиндалы – Артёмов услышал, как звякнула крышка бака. Жена появилась в полной темноте.

– Там, на улице, орёт кто-то, – сказала.

– Как орёт? – не понял Артёмов.

– Как... «гнедо-ой, гнедо-ой»... И матерится.

Артёмов тихо засмеялся

– Не бери в голову, – сказал. – А сколько сейчас?

– Три доходит.

– Ну, ложись, весь сон впереди.

– Не придёшь?

– А чё?

Ответа Артёмов не дождался, и вскоре уже спал, улыбаясь. Дед Пантелей оказался в этот раз безоружным, и он катал, катал эти арбузы с бугра, а потом и сам покатился следом, залиvisto, по-младенчески, хохоча.

6

И всё. И больше ничего мало-мальски непривычного этой ночью ни с кем не происходило. К бабе Фене Ласточкиной после полуночи ломился домовик из Мерзляковой избы, где ещё на втором Спасе завалилась печная труба и трещали матицы, но она привычно отражала наскоки известными заговорами, целовала свой оловянный крестик, и наутро даже товарке своей закадычной – Моте Касаткиной – ни словом, ни полусловом не обмолвилась о наглежащей нечистой силе, решившей уже, что она – неживой человек.

У Шоковых, у животноводов, опоросилась свинья и, по причине недогляда со стороны мертвецки спавшего в летней кухнёшке хозяина, двух пяточков задавила насмерть. Но это уж совсем рядовое событие: свиньи у Шоки, в соответствии с законом своей природы, поросятся через каждые три месяца, три недели, три дня – и это знают даже на рынке в городе Б.; там и слава об «этом мужике из Тарпановки» идёт, ибо поросята у него всегда чистые, привитые и на пятёрку дешевле других.

Решительное отступление

1

Утром следующего дня Иван Михалыч Кирин в бригадной конторе, Артёмов возле мастерской, а Василий Кузьмич Шоков на ферме испытали, как потом показалось им, тщательно согласованный напор требований немедленно решить вопрос о положительном отделении Тарпановки от ненавистного «Маяка».

– Мы не холопы, – слышалось. – Хватит волостновским за наш счёт кататься.

– До Мордасова нам на шесть километров ближе, ребятишки там учатся, а мы лечимся.

Но появилось и новое:

– Волостновка нам чужая от и до. Ни одного тарпановского там нету!

– А ветврач чей? – ввернул Шока, голова у которого, после длительного пребывания на мешке с картошкой (или луком?), физически не способна была вырабатывать сколь-нибудь внятные и неотразимые аргументы.

– А ветврач – твой свояк, – был даден ответ. – Ты с ним со службы приехал, а сам он хохол. Вспомнил?

Не ответив, Шока срочно покинул ферму, чтобы объединить мыслительную функцию своего как бы жёваного организма с бригадирской, а Дмитрий Зиновеевич по такой же, примерно, причине поспешил к Ивану Михалычу Кирину. В конторе их и обложили. Из-за, может быть, излишней, но осознанной предосторожности они вышли на высокое крыльцо и получили, таким образом, возможность глядеть сверху вниз, а также иметь пространство для тактического отступления, чтобы не оказаться раньше времени припёртыми к стенке. Тогда-то они и увидели, кто есть настоящий зачинщик, а кому лишь бы позевать. Характерно, что зачинщики – скажем, «Фитиль» – особенно глотку не надрывали. Стоит, бубукает что-то над ухом у того же Швейки, а тот кивает, кивает – и вдруг начинает орать:

– Мужики! Да там одних дармоедов-окладников девяносто восемь человек! Это надо же! Они, бля, змеи полосатые, жируют на всём готовом, а тут, язва, колотишься как...

– Мантулишь, мантулишь – все двести два рубля!

– То за уборочную по тыще получали, а из этого «Маяка» – четыреста! А намолотили, сколь при совхозе не снилось!

– Ладно! – резанул Артёмов. – Хорошо. Давайте отделяться. – Осаждающие притихли. – Кто тут знает, как это делается?

– Спросил, – пробормотал кто-то.

И все уставились на Ивана Михалыча, который стоял с каменным лицом и, почти не мигая, смотрел куда-то далеко-далеко. Не выдержав паузы, наиболее впечатлительные с опаской проследили взгляд счетовода и поняли, что устремлён он на кладбище. Вообще тишь сделалась. Михалыч был пенсионером с прошлой пятилетки, а все служил, и зарплату из его сухих, чистых рук получать было привычно, но разделение не светило ему ничем.

– А чего тут знать? – разрядил обстановку «Фитиль». – Поехать сейчас в правление, заявить. Начнут лапшу навешивать – бить по высшим инстанциям.

Так устранил Борис Меркушев лёгкое замешательство и похоронил надежду унять брожение постановкой неразрешимых вопросов.

– Конечно! – просиял Швейка и от полноты чувств хлопнул водителя грузтакси по горбу. – Ты, Борь, и поедешь! А то они, бля...

– Я что, – засмеялся тот, – я ничего. Никто, вернее. Артёмов у нас бригадир, пусть он и едет, установка ему понятная.

– Э, нет, – несколько нервически засмеялся Артёмов. – Не получится – опять гундеть станете. – Шока чувствительно ткнул его в бок. – Давайте тогда и доверенных, – закончил бригадир.

– Бери! – разрешил Швейка.

– Он возьмёт, – прогудел Пётр Прокопьевич Лоцилин. – Шоку да Шочиху.

Артёмов выждал и спокойно сказал:

– Давайте сами, я подожду.

Он сделал поворот кругом, а за ним исчезли в конторе и Шока с Михалычем. Осаждающие будто осиротели.

– А сколько, не сказал, – бормотнул Санёк Корнеев.

– Наше дело, сколько, – «Фитиль» нахмурился. – Скажем, пятерых?

– Зачем же пятерых? Нынче не воскресенье, – подал голос кузнец Волобуев.

– Ну, троих. Какая разница? Я поеду, Санек и... вон Юрка, – «Фитиль» покосился на кузнеца. – Посмотрим, как он крутиться перед хозяином станет.

– А я? – не умея скрыть обиды, спросил Швейка.

– Берём Ваняку? – «Фитиль» положил руку на плечо обиженному и весело огляделся.

– Пусть едет, – ответил за всех кузнец Волобуев. – Зюзина ещё с глаз долой увезите.

– Чё он орал-то всю ночь?

– Проспится – спроси. Дрыхнет в яслях на ферме – доярки так и не добились.

«Фитиль» послушал и покачал головой.

– А вы не забыли, чего шумели сейчас? – спросил. – Или только перед начальством выступать, а так – и трава не расти? Учтите, мужики, – он поднял руку, сжал кулак, потом крепко обхватил его другой ладонью. – Вот так нам надо! Или нечего затеваться.

– Как это нечего! Вы что? – закрутился Швейка.

– Да всё путём, – успокоил их Пётр Прокопьевич Лоцилин, – езжайте. Будем про одно долдонить – скорейша надоест.

И тут из-за угла медицинской половины конторы, с улицы, появился приодетый Морозов, Правая Рука. Осаждавшие оживились.

– Подкрепление идёт, – слышалось.

– Этот всё щас перевернёт.

– Здорово, с кем не видался! – между тем подал приветственный знак Морозов и остановился неподалёку от «Фитиля». – Бригадир на месте? А ты, Борис, в центр не собираешься?

– Собирается! Все, Ген, собираются, – подсуетился Швейка.

– А по какому случаю сбор?

– Да всё по тому же.

– Насчёт отделения, – почему-то дружелюбно пояснил «Фитиль». – Ты ведь поддержишь народ? – Он оглядел собравшихся.

– Обязан, – усмехнулся этот непростой, теперь все увидели, человек.

2

В конторе Артёмов сразу подошёл к телефону.

– Не работает, – предупредил Иван Михалыч.

Артёмов поднял трубку и услышал писк открытой линии.

– Звони, звони, пока не кончилась, – поторопил Шока, падая на изодранный кожаный диван.

Славный диван (Артёмов начал с протяжкой крутить диск), повидавший виды... упоминание о нём можно было отыскать теперь разве что в старых инвентарных книгах колхоза «Победа», в составе которого Тарпановка прожила самые «кукурузные», счастливые, в общем-то, годы... Ответила приёмная.

– Ма-аш! – закричал Артёмов. – Кто там у тебя поблизости? Энергетик? А сам где? Никуда больше не собирался? Ну, дай Бердяева... Николаич! Привет. Тарпановка прорезалась, да. Да! говорю. Привет! Слушай, ты найди Ужикова, скажи, тарпановская делегация едет. Делегация! Отделяться, мол, хотя! Мы... Да! Чтоб тебе совсем окосеть... Насчёт отделения! От «Маяка»! Тарпановка – от «Ма-я-ка»! Ты понял? – Артёмов долго, нахмурившись, слушал. – Ты кончай свою философию! Приеду – подпишу. Подпишу, я сказал! Не на кого больше повесить, что ли... Короче, ты найди хозяина и скажи, что я сказал. Отделяться! Да. Скажи – и всё. Пусть соображает. Малость погода выедем... Да подпишу я твои сраные акта! Всё, – Артёмов бросил трубку. – Лишь бы с плеч долой, начальники. От этих – и думать не стал, отделился бы.

Артёмов посмотрел на Шоку.

– Мне начхать, – сказал тот. – Я на ферме, и мне один хрен, Ужиков там или... Забирай молоко да лесу давай на ремонт.

– Гляди, Михалыч, какой скромник! Нам, что ли, надо? Михалыч вон всякого повидал. И отдельный колхоз... Так, Михалыч? Но тогда, ты знаешь, сколько народу было? И вообще...

– Знаю, – кивнул Шока. – А теперь... теперь время чудес в стране дураков. На базаре один высказался. А сам кривого поросёя у меня взял за полсотни.

И тут в дверях объявился Морозов, Правая Рука. Артёмов ему обрадовался.

– Значит, определились, поддерживаем?

– Да тебе хули ж – парторгом заделаешься, – пробурдел Шока.

– А тебе чем плохо? Свой ветврач – чистый спирт, – запросто отмахнулся Морозов.

– У тебя, Геннадий Иванович, какой институт? – нарочно поинтересовался Артёмов. – Машиностроительный?

– Политехнический, – уточнил Морозов.

Шока взмахнул рукой и откинулся на торчащую прямо спинку дивана. Глаза его закрылись.

– Я только не пойму, – заговорил Иван Михалыч Кирин. – Ну, высказали вчера претензии. Часть снять: завезти, скажем, сена с волостновских поливных, раздать поросёя с фермы...

– Кому-у? – Шока моментально очнулся.

– Народу, как Геннадий говорит. Тому, кто захочет взять. И в духе времени, и поутихнут сами собой. Председатель пусть два комбайна в центральные мастерские примет, премиальным фондом тряхнет. А как же?

– Да всё так, – Морозов пожал плечами; он попробовал куда-то позвонить, но линия оказалась уже закрытой. – Только нам-то зачем думать за них? – он показал потолок и пол.

Артёмов засмеялся от непонятого удовольствия.

– Поехали со мной, – предложил.

– Я на грузтакси.

– Не понял.

– Да всё ты понял! – засмеялся Морозов. – Езжай отдельно, только не отрывайся, пыли на виду. Без нужды мараться нечего, самого потом смажут.

– Вы серьёзно, что ли? – сдвинув шапку, вытаращился на них Шока.

3

Говорить начали за развилкой, выехав на волостновскую грунтовку.

– Тут стой, – сказал Морозов. – Пусть командир догоняет.

– И как он? – закурив, спросил Борис Меркушев.

– Там посмотрим.

В зеркале заднего обзора показался «шиньон», начал было притормаживать, но Борис махнул рукой, чтобы проезжал, и поднял стекло дверцы; в кузове загалдели доверенные.

– Его бы сзади пристроить, – усмехнулся Морозов, морщась от проникающей в кабину пыли. – Для ясности: едем потому, что всё равно надо начинать. Общее собрание не раньше зимы будет.

– Ясно, не раньше.

– На неделе таких доверенных надо в Мордасов заслать. Пусть мелькают. Но раньше времени сдвига не будет. Ничего не будет раньше времени.

– А слышал, бьются, чтобы местные выборы ещё до зимы провести?

– Ерунда, – уверенно сказал Морозов. – Рассчитывай до весны. И мы к тому времени должны закончить... Думать надо, как с полным паем отделиться. На какие шиши станешь эти развалюхи чинить?

– Я утром нарочно на своей улице посчитал: десятка полтора крепких совсем домов. Да если хозяева вернутся. Открывай и живи! За какие-нибудь подъёмные сами до ума доведут. А ты Верку, свояченицу мою, помнишь? Пишет, артист её совсем дома не живёт, так готова хоть дояркой в Тарпановку скрыться. А бухгалтер она – будь-буди, ещё с совхоза.

– Это разве проблема, – вздохнул Морозов.

4

Председатель Ужиков дожидался их в кабинете.

– Маш, с районом он связывался? – успел спросить Артёмов в приёмной. – Точно нет?

«Не поверил или не понял этого Бердяева», – подумал. Он бы хотел один сначала зайти, но первым через тамбур председателя кабинета прошёл Швейка.

Ужиков сидел за столом в распахнутой куртке и поглядывал даже весело, потом, когда делегация расселась, изобразил удивление.

– Маловато вас, братие, – проговорил. – Эдак всё равно до снегов ковыряться будем. Или остальные своим ходом двигаются?

Доверенные переглянулись, а «Фитиль» прямо прожёт Артёмова своим колючим взглядом.

– Не то, Николай Иванович, – пришлось начать. – Помогать бригада отказалась.

– Вот так новость! – председатель посмотрел на Швейку. – А я тут распорядился поросю на вашу долю колоть, лапшу варить человек на десять. Что так? Своё дело вы сделали, молодцы. Теперь давайте за весь колхоз думать. Будет план по маслосеменам – будут деньги и техника. Отпашемся до морозов – можно на будущий урожай рассчитывать. А надо ещё сено свозить, про солому я молчу, по снегу придётся. Как же так, мужики?

Не будь тут «Фитиля», подумал Артёмов, ещё чуток дожать – и эти пошли бы трактора заводить. А так... придётся говорить.

– Просьбу я передавал, Николай Иванович, – Артёмов не вполне узнавал свой голос и начал злиться. – Говорят, лучше отделимся, а помогать не поедем.

– Как это «лучше»? – не вытерпел «Фитиль». – Скорей уж наоборот говорили: отделимся, а там уж и на помощь придём. Люди самостоятельность захотели.

Глядя на председателя, Артёмов понял, что энергетик всё ему передал правильно, но он не поверил, либо решил, что запросто собьёт спесь.

– Понял, понял вас, мужики, – склонил голову Ужиков. – Всё понял. Какая, ты скажи, зараза! Семьи делются, народы делются, колхозы начинают делиться. А вы знаете, каких это денег стоит?

– Знаем, – сказал Швейка.

– Ну, Иван-то Зотиков да не знает! – Председатель покривил рот в усмешке. – Не меньше полумиллиона это, Иван батькович, стоит. Не меньше. А где их взять? Есть они у вас?

– Почему «у вас»? – «Фитиль» пожал плечами. – Надо покамест говорить «у нас». А в колхозе есть такие деньги.

– Отку-уда!

– Я не про живые сказал, – защитился открытой ладонью «Фитиль». – Есть недвижимость, земельный фонд. Вы же лучше нас знаете. Никто не собирается Тарпановку покупать.

– А, может быть, ваша правда, мужики, – сменил тон председатель. – Сказать только, не ко времени вы затеялись, а так...

– И когда же то время подойдёт? – спросил «Фитиль».

– А ты сам, Борис, посмотри, – Ужиков ворохнул бумаги на столе, газеты. – Может быть, вообще завтра все колхозы поразгонят.

– Да некоторые и не мешало бы, – «Фитиль» даже не сморгнул. – А зачем же все-то?

– Завидую я тебе! – Ужиков повёл руками. – Всем вам. Отпахал или там коров отдоил – и хоть подсолнухи щелкай! Нет, я понимаю, домашние проблемы у вас, то-сё... Но ведь и с домашними вы в этот кабинет прётесь!

– Это мы-то?

– Ну, не вы, не вы! Я же и только что, и всегда говорил: у тарпановцев бы нам всем поучиться, как дела делать и не надоедать.

– Во, сам же и сказал! – просиял Швейка. – Зачем нам «Маяк»? Сам же сказал, а, Николай Иваныч? Вот и отпускаяй тогда!

– Эх, Иван! Да я что? Идите! Но ведь у нас же процедуры на каждом шагу.

– Какие процедуры? У тебя власть или не у тебя?

– Ах, вла-ась? – Ужиков поднялся и пошёл прямо на Швейку.

«Напросился!» – с облегчением подумал Артёмов и подобрался на стуле.

– Да какая, к чёртовой бабушке, власть! – Ужиков остановился у края стола для заседаний. – Вот вы меня хозяином зовёте, так? А какой я хозяин? Ну, какой? Щас бы на вас топнуть, да «по машинам» скомандовать, а я что? А я сижу и думаю: я топну, а ну как и на меня оттуда топнут? А? Ведь что раньше, что теперь: полшага не спросясь сделал – тебя же и к ногтю. На собрании вы орёте, а там... и там все орут. Сегодня одно орут, завтра – другое. То по порядку отчитайся, то по аренде... Вы что думаете, просто так все сроки на уборочной затащили? Ну, вы-то работали, это да. А здесь, да по всему району сколько комбайнов проставало? В самое золотое времечко! Почему? А такие вот расценки утвердили. Звенья поразбежались. И ты посмотри: опять калечных машин понагнали, все комбайны заставили выпускать-выталкивать с мащдвора. Он мне не нужен, горючку только жрёт, и комбайнёра путевого я не нашёл, нету, так к нему сторожа, алкаша какого-нибудь шлют! Корми, Ужиков, ищи запчасти для не нужных тебе комбайнов! Зачем головы людям дурили?.. А ты посмотри, кого к нам на ток прислали по райисполкомовской разрядке! Подъезжаю раз – загорают. Срам лопушком прикрыт, а тут – вот она я! А ну, говорю, девки, кончай разлагаться! Лопаты в руки и... Да ты что, одна говорит, что ты, начальник, я своими руками за всю жизнь тяжелей х... и не держала ничего!

– Прямо так? – Швейка закатился. – Не может быть!

Артёмов это уже слышал, но даже за компанию улыбаться не стал. Он понял. Из кабинета они в конце концов уйдут и уйдут ни с чем. А в Тарпановке что будет? Что вообще будет? Доложит Ужиков в район, оттуда скажут: кончай ерундой заниматься... А в кабинете звучал осмелевший «Фитилёв» голосок. Этим-то что двигает, что ему-то надо, на что он-то рассчитывает?

– Если вы так хорошо своё положение видите, – нахальничал этот рыжий, – тем более должны нас понять и препятствий не чинить. А лучше уж помогайте.

– Да? Значит, верёвку мне самому приносить, а уж ты, Борис, её как-нибудь намылишь? Борзо-весело у вас!

– Ну, ясно! – «Фитиль» первым поднялся. – Мы вас официально в известность поставили... А могли бы к Новому году стать добрыми соседями, – прибавил от двери.

– У него что, кто-то есть где-нибудь? – спросил потом хозяин, задержав Артемова.

– Тарпановских везде полно.

– А ты-то. Молодец, ничего не скажешь!

– Сам не знаю, что делать.

– Не знаешь ты. Производственный участок у тебя или шалман в Тарпановке? Ладно, на твоих не буду рассчитывать, но ты бузу гаси давай, не жди воспитателей. Ты понял? А Морозов почему постороннего из себя гнёт? Надо же, и «здрасьте» не сказал! Я к нему подошло парторга, да ещё инструктора из райкома вызовем... Ты с ними или на своей?

– На своей, – ответил Артёмов.

– Подбрось тут в одно место. Известили они!

5

Доверенные на грузтакси, а там и бригадир на своём «шиньоне», вернулись в Тарпановку уже к обеду. Организованно их не встречали и о результатах докладывать с ходу некому было. Правда, Швейка, пока на свою Заречную добирался, другому-третьему успел через окно прокричать, что, мол, дальше бить надо, но большой сбор был ещё впереди, хотя и там – а собрались в мастерской – в подробности опять же не вдавались.

– Только ты, Зиновеич, зря помалкивал, – высказал при всех неутомимый Швейка. – Мы теперь доверять тебе поменьше станем.

– Это я помалкивал? – удивился бригадир, но тут же и поскучнел как бы. – А чего говорить, если младенцу ясно: непробиваемое дело затеяли.

Но даже и младенцу, не обременённому, как Артёмов, обязательствами перед председателем, не получавшему, как он, зарплату за проведение линии правления в тарпановскую жизнь, было ясно покамест одно: надо стучаться дальше, но по всем правилам.

– Борис говорит: тогда считайте нас на самоопределении, – докладывал Швейка.

– Как же! – усмехнулся Артёмов. – Да так вам любой дурак лапши навешает. Выдумали: самоопределение!

– А как же тогда?

– А я знаю?

– Вот высшие инстанции пусть нам и разъяснят порядок, – вставил Борис Меркушев, взявший дома несколько отстранённую роль.

– Пиши тогда письма в свои инстанции, – это были последние слова Артёмова, после чего он отправился на вечернюю дойку.

– Советник бы нужен грамотный, – заметил кузнец Волобуев. – И тёртый.

– Вот и давайте вспоминать, кто где из наших сидит, – довернул разговор Борис.

– Да сидят... Хоть Леху Ивашкова возьми. А Наташка у Иван Михалыча вообще в райисполкоме заправляет.

– У Лехи чин невелик, а Наталья – да. Так ведь на сраной козе не подъедешь.

– Советчика можно за деньги нанять! – осенило Швейку.

– Ага, особенно на твои.

– Да-а, – проговорил Пётр Прокопьевич Лоцилин, – тогдашние-то колхозы матросы собирали. Центр сам присылал.

– А теперь разгонять пришлют, – вставил Санёк Корнеев, на которого поездка, что ли, подействовала: то от Швейки не отставал, а то... даже повыше стал ростом.

– Нет, законно будет! – засмеялся некстати Юрка-Дембель. – Свой клуб, своя какая-нибудь культ-про-Света и стерео-ляля с мигалками!

– Не по зубам, видно, горбушка, – вздохнул Николай Оборин.

– Может, правда, письмо черкнуть куда-нибудь, – поразмыслил Николай Анучин.

– Можно и черкнуть, – согласился Борис Меркушев. – Но пока ответ придёт, новый год начинать надо. Решать – так сейчас, чтобы и фонды, и план были.

– План?

– И план, и обязательства, – отчеканил Борис. – Чтобы потом не сказали: подождите ещё до осени. Вот она, осень, а другая, ты знаешь, какая будет?

– В каком смысле?

– А хватит, скажут, четыре года сопли жуёте. Раз так, нет вам ничего, отдыхайте!

Помолчали.

– Да так и так ничего нету, – сказал Михаил Кузьмич Шоков.

– Ну, ёлки, значит, в район ехать надо! – взвился Швейка. – Кто поедет-то?

– Ладно, – сказал Михаил Петрович Воеводин, без которого весь вчерашний шум прошёл. – Есть там у меня, съезжу... Кто со мною?

Из всех охотников он выбрал Саньку Корнеева, Юрку, а Швейке сказал, чтобы серьгу на его «алтайце» подварил с Васьком Шашкиным.

– А при колхозе, гляди, свой автобус будет, заправщик, – размечтался Костя Зябин; все с каким-то облегчением засмеялись.

– Что, никому больше не хочется к чужим присоединиться? – зафиксировал Борис Меркушев. – А то заладили: до Мордасова нам на шесть километров ближе.

6

Когда уже стали разбредаться по домам, к Саньку Корнееву подрулил, наконец, Веня Нехаёв и поинтересовался с ухмылочкой:

– Ты после вчерашнего, что ли, такой?

– Какой?

– Ну, какой... Юрка, смотрю, ничего.

– Юрке хоть кобылу подводи.

– Пока вы ездили, я нашёл. Приложился, правда, но есть. Будешь?

Вопрос был излишним.

Потом Веня предложил похлопотать ещё, но идея была пресечена в зародыше.

– Нам с Юркой в центр ехать, – напомнил Санёк, и с этого момента чувствовал себя уже в пути.

Он и неблизкую дорогу от мастерской до своего дома преодолел пружинистым, запасливым шагом, всё время размышляя о предстоящей поездке. Своим поведением у председателя он был недоволен. Ведь он же всегда был готов постараться для общего дела, а если надо, и пострадать. Всегда! И Воеводин указал на него совершенно не напрасно.

Двор его ворот не имел, так как не был и огорожен, и, не меняя ногу, Санёк промаршировал походно-строевым до самых сеней. Корова на карде, успел заметить, лизала соль, выл и скрежетал в теплушке сепаратор, и, значит, домой он угодил в самый кон, разве что за водой слетать, подсуетиться.

Жену, помня, как и она, вчерашнее, Санёк приветствовал сдержанно, зато широко улыбнулся тёще, ответившей ему из своего лежачего положения приблизительно тем же.

– Собирайте, голубки, в дорогу орла! – объявил, когда вой сепаратора стал угасать.

– Хоть бы и правда черти унесли.

– Куда-то, Шурк? – спросила тёща.

– Районное, мамаш, начальство призывает. – Санёк подсел к ней и украдкой показал три растопыренных пальца. – В виду грядущих перемен, – и раскрыл всю пятерню.

– Слухай его, слухай.

– Я, повторяю, не шучу. Утром должен ехать.

– А у энтого начальства пинжаки, случайно, не с погонами?

Замечание, конечно, было вздорным, однако напомнило, что не помешает в этом смысле захватить и паспорт.

Подождав, пока тёща откопает в тряпье пенсионные излишки, и приняв ссуду с молчаливой клятвой непременно вернуть долг (в руку легли не три или пять, а все восемь рублей бумажками), Санёк взялся за приготовления.

В горнице он раскрыл обитый крашеными жестянками сундук. С внутренней стороны крышки на него глянули: лётчик в кожаном шлеме с комбайнерскими очками, красномордый моряк в поварской бескозырке блинчиком, немой пехотинец и пограничник, у которого взгляд на свету делался острее иголки и пропадал совсем. «На страже защиты родине», – было написано пониже огнестрельного оружия, которое все четверо прижимали к грудям; за головами у защитников были голые доски, потому что ни ракет, ни реактивных самолётов неизвестный мастер рисовать не умел, а, может быть, сэкономил краски. Не изобразил он и дорогого сердцу танкиста, так что даже мысленно посоветоваться насчёт снаряжения Саньку всегда было не с кем.

Из сундука были извлечены галифе тёмно-синего цвета, рубаха в голубую полосу с твёрдым воротником, а свежие трусы, китайские тёплые кальсоны и несколько застиранную рубаху к ним Санёк выкопал из открытого ящика, куда после стирки всё складывалось охапками и так и лежало до востребования. Пошарив над дверным косяком, он нащупал паспорта, отобрал свой и сунул его в глубокий карман галифе. Деньги переложить не успел.

– Снаряжайся, снаряжайся, – каверзно, с нехорошим посулом прозвучало за спиной.

Не ответив, Санек поискал под занавеской за галанкой своё полупальто, но почему-то там его не обнаружил. Не было его и на вешалке в теплушке. Он присел на табуретку.

– Уморился, сынок? – сочувственно спросила тёща.

– Я-то? Нет, мамаш, переживаю. Ведь же в самый ясный кабинет придётся заходить в мытой куфаечке. И не за себя, за Тарпановку мне стыдно, мамаш.

Услышав это, жена влезла на печной приступок и сбросила на пол... тяжёлое, мятое и перепачканное мелом.

– Возьми, захлёба, свой «москвич».

Пронзив убогую взглядом, Санёк поднял полупальто за шиворот и пошёл выбивать из него лишнее. Тут бы и пригодился забор, но раз нету, пришлось использовать раскрытую сенешнюю дверь, а лупцевать попорченную одежду гладким тёщиным бадиком. В сумерках не было видно вылетающей пыли, но отчего-то ведь чихалось, и, уморившись размахивать как бы пустой рукой, Санёк решил, что дело сделано.

– Одежной щётки у нас нету, конечно, – сказал, заходя в дом.

– Культурный какой нашёлся!

– А ведь была. Моя, армейская, – проговорил Санёк, устраивая едва ли посвежевший «москвич» на одном из гвоздей, вбитых в сосновую доску.

Тёща сидела теперь за столом, а убогая разливала щи.

– Садись, Шурк.

– Он со вчерашнего сытый.

В нормальные вечера они хлебали из одной эмалированной чашки, подливая добавку, а сегодня Саньку была сунута алюминиевая, в которой обычно готовилась пережарка из лука.

Ужинали молча, только что пошурывали, схлёбывая с ложек медленно остывавшие щи: утка, на которой они были сварены в понедельник, оказалась жирнущей, о чём в другой день обязательно состоялся бы разговор – вот, мол, и кормить путём было нечем, и пропадали где-то целыми днями, а жирок нагуляли не колхозный.

– Сотворим свой колхоз, и жизнь наладим культурную и весёлую, – без особой надежды, просто так сказал Санёк, отваливая от стола.

– С тобой наладишь, – пробурчала жена, но посмотрела на него уже не так косо.

Потом они стали пить чай со вчерашними вафлями. Убогая откусывала плитку с треском и морщилась, наверное, от кислоты, а тёща макала свою в кружку, посасывала и запивала мелкими глоточками. Санёк сплюнул в помойное ведро и без особого интереса подумал, что где-то у тёщи под постелью должен был лежать и коньячок, который догружали этой вот кислятиной.

– Да ведь гадость же! – не выдержал он, когда жена взялась за другую плитку. – Пейте с сахаром, – но цели не достиг.

– Богач какой, сахара у него мешок.

Пришлось уйти с глаз долой. После ужина убогая совсем оставила свой враждебно-подстрекательский тон и выдала для переодевания трусы с якорями, потому что у тех, в полосочку, резинка оказалась прослабленной, почти что верёвочкой – не держала.

Устроившись потом под стёганным одеялом, Санёк захватил одно место у жены в свой кулак, на та вывернулась, словно опытный диверсант, отвернулась и даже толкнула его вострым заносчивым задом.

– Рубля три-то хоть дашь на дорожку? – спросил, закидывая руки за голову.

– Поищи другую давалку, – прозвучало в ответ.

– Ну, тогда не обижайся.

Санёк имел в виду, что засыпать будет на спине и выведет богатырский свой храп сразу на рабочую мощность. В это время, по рассказам жены, начинает звенеть стекло в угловом окне, а кошка мяучит и просится на улицу.

«Ха, сегодня она совсем под сарай жить перейдёт!» – мстительно пообещал Санек, но потом как-то отвлёкся, задумался и заснул тихо, на правом боку.

«А какой мне-то интерес в этом колхозе?» – задумался было Александр Карпович Корнеев, а независимо от него и Веня Нехаёв, и Костя Зябин, и ещё много кто, не оглушённые до поры сном или нечаянной выпивкой. Какой? И, не отыскав ясного ответа, успокаивались ребята тем, что и просто так рады они послужить общему тарпановскому делу, а там, может быть, и им что-нибудь отломится. Но и не отломится – ничего. В конце концов, как сказал Владимир Ильич Ленин, «истина есть процесс», и лучше уж в «процессе» поучаствовать, чем проводить день до вечера да разрушать организм алкоголем и борьбой с глупостью, жадностью и другими пороками, обуявшими, как нарочно, именно их законное бабье. И многие в этот вечер, действительно, дали прямой, косвенный или вовсе негласный зарок не пить ни грамма до самого победного дня, а бабы у кого сами притихли, чего-то ожидая, а кто просто внимания на них перестал обращать.

Правда, Семён Зюзин, отлупцевав на глазах у Валюна Жигина бродягу Гнедого, обнаруженного им аж на шестом поле, в зеленях, свой личный зарок отодвинул на неопределённое время, а может быть, и вообще ни о чём таком не подумал – как-никак в телеге у них один экземпляр звездастого отыскался. А где один, там и другой приложится, не смотри, что Тарпановка мала; очередная ночь к этому располагает.

Поднимается ветер

1

В ночь на пятницу подул настойчивый юго-западный ветерок. Он был слаб ещё, едва доносил с Полыновки кисловатый дух фермы, обживаемой лишь неделю после переезда с летних стоянок, чуть шевелил жестяного петушка на крыше у Пиндюриных, не осиливал ещё ни ставен, ни калиток, однако по тому, как ровно тянул он, как надувал конверт пододеяльника и простынку, вывешенные как всегда на ночь медичкой Зоей Неделиной, а равно и по мерцанию словно бы поредевших звёзд, наблюдательный человек мог достоверно судить, что ясным и тихим денькам загостившегося бабьего лета остались, может быть, считанные часы.

А пока даже боец Суриков Константин Петрович свободно наклоняется за слетевшим под ноги листком численника и вовсе не торопится наводить целебное растирание, рецепт которого им выстрадан, записан в тетрадке с адресами однополчан и ныне действующих госпиталей, а также на поясице и в суставах ног и рук бывшего пехотинца. И славных тружениц тыла обнимает привычное, от возраста, как полагают они, недомогание. Разве что красавица Соня Самсонова отчего-то медлит сегодня стелить высокую девичью постель, сторонится матери и всё вздыхает, вздыхает о чём-то, пожалуй, что и сама не знет, о чём.

И что, вообще, несёт он, этот едва поднявшийся, влажный и такой уже настойчивый юго-западный ветер?

Вот заглянул он в приоткрытое по случаю выветривания гари, напущенной от недосмотра за сковородой, окно Родиона Павловича Устимова, шевельнул страницы открытой Книги книг на столе, и девяностолетний старик, прилёгший было на топчан у двери, открыл глаза. Стихи из Книги, сморившие его и отлетевшие прочь, до нового узнавания, вдруг вернулись ясными, как «дважды два» или «чти отца своего», проявились в сознании и оказались понятными, может быть, до самого дна. Шевеля губами, глядя прямо перед собой, Родион Павлович поднялся и сел, свесив босые ноги.

Открывшаяся вдруг памятьливость не испугала и не обрадовала старика. Да и не впервой это было – в прошлом году ещё началось. То за целый день ничего не мог толком рассказать заезжему молодому писаке, пытавшему по району зажившихся дедов о раскулачке, а в ночь, опоив гостя чаем с мятой, проводив с добром, вдруг так всё картинно припомнил, такие мелочи и столько названий и имён, даже барачных... Теперь вот – «блаженны алчущие». Даже сказку про Иону мог бы, кажется, слово в слово рассказать младшему правнуку. Да что Иона... А причина – Никиток Мясоедов, с которым пошумели вчера опять через речку перед вечером. «Ты там не блаженничай особо», – не найдя других слов, пришлось крикнуть в сердцах. А как бы он стал теперь разговаривать, друг ситный? И сладким показалось это желание: сказать, наконец, Никитку, что он такое сам и чего стоит его возня со старухами.

Доходил уже восьмой час, уже и поздно, но так повлекло вдруг за мост, к «читаке» этому, что Родион Павлович не в силах оказался противиться. Да и памятьливость на стихи, которыми любит поковырять Никиток, гляди, кончится.

«Блаженны алчущие и жаждущие правды...» Потому и блаженны, что нечего и ждать её, правды, на всей земле. «Блаженны милостивые»? А как же! Будет, будет, кого миловать, во все времена.

Одеваясь, Родион Павлович добром, что не часто бывало, помянул своего младшего, Гришку, лысого доцента по долбёжным станкам, указавшего и сёстрам дорожку до города, – Книга книг была его подарком «дорогому папе в честь 80-летия». Вооружил против этого елейного трутня!

Всему земному, здешнему и сегодняшнему, но и тамошнему и завтрашнему уготовано лишь одно: верная и неминуемая гибель. Терпи, пекись о ближнем – о самых ближних делах и людях – и кто тебе может навязать хотя бы и Бога?

Валенок не давался на ногу, но Родион Павлович побряхтывал весело, и очень что-то задорное было в том, как он снаряжался в неближний поход свой, вернуться из которого рисковал уже за полночь.

«Ибо, когда будут говорить: мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут».

Закрыв Книгу и пошире распахнув окно, Родион Павлович поспешил в дорогу. Теперь-то он, кажется, твёрдо знал, что из Книги, за которую так держится Никиток, на самом деле извлекается всё, а не одни только мясоедовские «службы». Это уж кто перетянет, кто задурит ловчее или напугает. Сам же Родион Павлович Устимов, наполненный днями и днями, и без Никитка бывал и втянут, и обманут, и пугали его столько, что, пожалуй, на целую религию хватило бы, не менее занятную, чем мясоедовская... Прохвост!

Не выключая света и не запирая дверей, он вышел на разорённую Заречную, взялся было за пуговицы, но бросил и пошёл в распахнутом пальто. Ветерок показался ему лёгким, ласковым, да и толкался он покамест в спину.

Из соседних развалин тогда же и выбрался заспавшийся Орепей, потянулся на ровной дороге и, махая хвостом, пошёл вслед за стариком на село.

2

.....

3

Вечером обозначилась хоть какая-то перемена. Когда Вениамин Андреевич, убравшись по двору, вошёл в дом, Ворониha его любезная была уже в чёрной плюшевой жакетке, покрыта голубым платком с серебряной ниткой по краю, а на ногах имела войлочные полусапожки, надеваемые лишь для праздных выходов. Ей оставалось только увязать что-то в платочек – и до свидания.

– Клавдюшу проведу, – сказала она, слегка оправдываясь, – неделю не видались...

«Ну, это вряд ли», – подумал Вениамин Андреевич, улыбаясь; вчера в магазине, поди, и договорились почаёвничать. Уйдет сейчас, а там жди и Харитошу в гости: и не захочет он, а выпроводят. «Чё ж там Бизяев мой один-то будет», – скажет его любезная, и Харитоша явится, куда ему больше.

Не сразу сошлись они с Горкиным, в деятельные годы лишь наезжавшим к сестре в Тарпановку, а потом, вернувшись навсегда, долго, года два, пожалуй, дичившимся в четырёх стенах всех и всякого. Но приходилось выбираться хотя бы на собрания, и на одном из них, куда Вениамин Андреевич забрёл послушать, как же тарпановский авангард собрался более улучшать идеологическую и воспитательную работу, они и сошлись. Слегка, приглядываясь друг к другу, заспорили тогда, а потом потянуло доспорить, дорассмотреть, да так и привязались. А женщины их – сестра Горкина и любезная, – с малолетства знавшие друг друга, захороводили всё-таки позже, но и они оказались не разлей вода вскорости. Ещё не окрепшие их привязанности пыталась разрушить Ворониhina дочь, работавшая вместе с одной из бывших жён Горкина, но – устояли, даже крепче сплотились, увидав, что, оказывается, кому-то ещё небезразлично, вместе они или поврозь... Да. Но что-то он тянет сегодня, приятель дорогой и почаёвник.

Вениамин Андреевич наверняка знал, о чём зайдёт разговор у оставленных с глазу на глаз сударушек. Свою он слышал как будто вьяве: «И не надо мне ничего... и взять с него нечего... только что же понапрасну Бога гневить...» Идея была – оформить их законный брак. Год назад она и ему про Бога, а он посмеялся: «Если за тридцать лет он ни единожды не прогневался, то

остаток потерпит, я думаю». И напугал любезную. И давно бы оформил всё, не узнай случайно, что и эта идея её от дочурки остроумной... неужемной.

Он приготовил всё для чаепития, две рюмочки махонькие протёр на всякий случай и перешёл в свой угол, занимавший, однако, чуть ли не всю горницу. Просторный двух тумбовый стол из старой школы, самодельные стеллажи и шкаф с глухими дверцами, тяжёлая, подаренная к пятидесятилетию настольная лампа. Папки, стопки, рядки, корешки... Три прогнувшиеся слегка полки, забитые однообразно выцветающими, с пожелтевшими чубчиками закладок, журналами. Без малого тридцать лет в наглядности... Но и эти полки – всего лишь напоминание о подевавшейся куда-то ещё одной страсти. Хоть бы пришёл кто-нибудь и забрал, очистил воздух и света прибавил. Да теперь уже не придёт, и подарить, навязать это добро некому.

Окно в углу заслонял старый, словно и неживой теперь фикус – последний прямой отпрыск того, первого, заведённого к недоумению моложавой ещё любезной, лишь много лет спустя прочитавшей подсунутый им журнал, где были фикусы в кадках, и колченогая кошка, и та... тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село... и тараканы, – вот кто живуч-то!

Входная дверь стукнула, и Вениамин Андреевич приободрился, поспешил встречать изгнанника, говорить ритуальные слова и посмеиваться. Преодолевая то тягучее, упадническое в себе, что копилось не одну неделю, а, кажется, целую жизнь, он переигрывал, нарочно цеплял уравновешенного Харитошу, но тот не давал себя сбить с наскака, разглаживал усы и время от времени кидал прожигающие взгляды – тоже играл, наверное.

– Письмо, говоришь, получил? – спросил после рассчитанной паузы; о письме Володи Сурикова они поговорили вскользь у магазина. – Отрекается, значит, учёный-мочёный?

– Формулирует! Вот, – Вениамин Андреевич взял в руки дважды переложённый с места на место листок, посадил на нос тяжёлые очки. – «Именно сочетание заведомой неправды с оглупляющей примитивностью задаваемых вами учебных текстов, предназначенных главным образом для формального заучивания, крайне разрушительно воздействовало на духовное и гражданское становление нас, ваших учеников. Человек, воспитанный на таком суррогате духовной пищи, будет в дальнейшем равнодушен к любым неординарным предложениям по переустройству нашей жизни, а то и злобно отторгать их...»

– Да он же оправдывается! – засмеялся Горкин. – И даже не перед тобой. Ах, сукин кот, нашёл виноватого!

– Ты думаешь? – Вениамин Андреевич снял очки и придавил ими письмо.

– Какой суррогат, если он, ты говоришь, весь шкаф перечитал? Золотой шкаф! «Рим накануне падения республики», Соловьёв... Ты что?!

– Из «Катилины» он в выпускное сочинение вставил: «Доблесть же – достояние блистательное и вечное».

– Не такой ты, Андреевич, небожитель, чтобы... Или в себе что отковырял?

– Да отковырял, понимаешь. – Вениамин Андреевич почувствовал, что говорить ему становится легче. – В сорок седьмом я первый урок давал, а в пятьдесят пятом, примерно, только очухиваться стал. За книжками бросился... Десять лет и себе, и ученикам головы морочил, понимаешь?

– Но этот-то в сорок седьмом, может, только и народился.

– Это, Харитоша, не важно. И потом, я же и рад был, когда среднюю школу прикрыли, а с нею и необходимость истолковывать нашу историю. А в семидесятых стали мои ребята приезжать со всякими перепечатками, брошюрами. Мне бы хоть вчитаться, а я: это другая полуправда, это новая ложь. Володя письмо Бухарина привозил, я ему: хороший мой, это не исторический документ, это политическая фальшивка, с кем ты водишься. И убедил, представь!

– Да перелицовываются сплошь, – отмахнулся Горкин. – Я же говорю, по верхкам легче... И крокодиловы слёзы – они крупные, но лёгкие, слышь, как вода!

Вениамин Андреевич засмеялся.

– Ты, крокодил. Ты своё письмо отправил?

– Конвертов нет, – усмехнулся Горкин. – И подписантов нет. Не модно получается, никто читать не станет. Тетрадку подписей бы...

– Постой-ка, подписант! А не сообразить ли нам к чаю чего-нибудь благородного, а? – Можно было, Вениамин Андреевич чувствовал это.

– Ну, сообрази. Может у вас, сударь, и лимоны созрели?

– Вот оно, Харитон! – Вениамин Андреевич прищёлкнул пальцами. – Вот это идея! Что капуста. Ты полезай-ка вон на ту полку, там разные «знай и умей» пылятся, и найди что-то, не помню дословно, вроде «Сад и огород на подоконнике». – Усы у Горкина начали расправляться, но Вениамин Андреевич упредил. – Нет, ты подумай, подумай! Это же, брат, не просто времяпрепровождение! Это... Ты поищи.

Когда он вернулся с подносом, Горкин листал взятое именно с указанной полки, но не то. Отложил. Рассаживались, угощались, крякали. Отпив чаю, Горкин ухватился за книгу, чего Вениамину Андреевичу не очень-то хотелось сейчас. Болотов. А раз Болотов, то известно, что Харитоша отыскал опять... ну, держись тогда!

– Вот Андрей Тимофеевич дорогой, первый русский агроном, – положив ладонь на книгу, Горкин запрокинул голову и начал нараспев: – Ежели хотеть, чтобы хлеба родилось больше, то надобно: чтоб земли было больше...

– До самых речек распахали, – быстро вставил Вениамин Андреевич.

– ...чтоб она была, колико можно, лучших свойств и качеств...

– Само собой, под личные участки остаются глина, камень и буераки, – перебить «тетерева» было не страшно.

– ...чтоб она была надлежащим образом и как можно лучше уработана...

– По колено пашем да с отвалом!

– ...семена хлебные были б, колико можно, самые лучшие и совершеннейшие...

– Именно! Да первая заповедь гласит: сначала сдай всё до зёрнышка государству!

– ...посеяны они были б надлежащим образом и в настоящую пору...

– Конечнее, к сеялкам мы, правда, учителей-бездельников поставим, но к ним – специалист с шаблоном. А когда сеять, телеграмму дадим... ты, главное, не волнуйся.

– ...хлеб во время растения своего не имел никаких удобоотвратимых помешательств и повреждений, наконец, по созревании своём не был бы по-пустому растерян, но собран с возможнейшей бережливостью!

– К чему и призывают наши многокрасочные плакаты и лозунги! Плохо им дыры в кузовах, в комбайнах заделывать? Ну, разумеется, они же бумажные! И все претензии твои, товарищ Горкин, к законным властям отпадают: всё они по Болотову делали и продолжают. И ты, брат, хоть на пенсии должен успокоиться, не забивать голову, прости меня, трюизмами и письма свои писать только на передачу «Вам песня в подарок».

Горкин закрыл книгу, вздохнул.

– Мне, Андреевич, характера, политики всю жизнь не хватало. Ну, что толку – пыхал иногда, бросал всё к чёртовой матери? Самому же стыдно делалось, а возвращался – и ещё невыносимей. На жёнах срывал... Ни детей, ни внуков.

– Почему обязательно...

– В любом смысле, – Горкин хлопнул сухой ладонью по книге. – Тебе хоть письма пишут. А ты старые их письма не выбрасывай, и это... это тоже спрячь. Дети.

Молча выпили по второй, оженили чаёк и только после этого лёгкость снова вернулась в их разговор, но он уже измельчал – взялись обсасывать эту идею с отделением от «Маяка»

и перешли на разделение галактик, народов, колхозов, семей и империй... уже и выдохлись, а любезная всё не возвращалась.

– Пойду-ка разгону я тот женсовет, – оборвал Горкин одну затянувшуюся паузу и сразу же стал собираться.

– Ночь темна, встречать придётся и до дома провожать, – продекламировал нечто Вениамин Андреевич и тоже надел свой бушлатик.

Во дворе Горкин чему-то рассмеялся и чуть погода почти прошептал:

– А своей ты, Андреевич, скажи: в новом Тарпановском сельсовете, мол, распишемся.

Что ответить, не нашлось сразу – вдруг спеленала какая-то (неужто стариковская?) нежность к этому усачу. А тот поспешил исправиться:

– Что, перегнул? Прости, ежели...

– Да где же ты раньше был? – Вениамин Андреевич до слёз расхохотался. – Так и скажу!

4

.....

5

Очнувшись раньше будильника, Мария Ефимовна попнулась, чтобы сейчас же и прихлопнуть его, но рука ухватила пустоту, и она вдруг повалилась вся, полетела и шмякнулась.

– Ой! – услышала собственный голос и разлепила глаза.

Прямо перед носом маячила ножка обеденного стола, валялась неподалёку, в мусоре и крошках, тапка, лежала опрокинутая табуретка, а свет шёл из открытой передней, откуда долетал и заковыристый Ванькин храпоток.

«Настебалась!» – определила.

Начала подниматься, а, увидав себя всю, вдруг вспомнила... всё сразу и вспомнила. И сейчас же виски прострелила боль, заныл затылок после жёсткой лежанки, и голое, в одном носке, тело затряслось, задрожало от холода.

«Манька ты, Манька, проклятая Швейка!»

Потирая под левой грудью, постанывая, начала подбирать свои манатки с пола, со стола и даже с подоконника. Постукивая зубами, кое-как надела все по порядку, нашла свой бокал недопитый и выцедила, заставила себя, остатки.

Сбегав наскоро на подувший откуда-то ветерок, она поработала тряпкой, поубиралась в полусвете, а когда щёлкнула выключателем, оказалось, что припомнила-то ещё не все: на мамакиной неприкасаемой постели, где болела она и померла, валялась теперь сумка «Аэрофлот» и эти кульки да пакеты.

– Ах, гадёныш! – вырвалось, и будто чем подкосило её. – Сволочуга...

Но там, рядом с Ванькой, заверещал будильник, и она кинулась глушить – не разбудил бы ещё этого... Успела. И свет над дурачком Швейкой, лежащим чинно, под одеялочком, приобняв несмятую подушку её, выключила.

Будильник и всплакнуть не дал – пора уж на ферму. Пока вынимала из печки сапоги, натягивала фуфайку с будто бы приросшим халатом поверх, всё думала. Думала и придумала. «Любовь» придётся стерпеть, чего уж теперь, но вероломство без отместки оставлять – дура душой она будет... Да пришёл бы как все, или хоть... А сумочка-то ясно, чья, и как распорядиться ею – понятно. Укладывая свёртки, придержала один, но тут же и бросила – сроду нечестной не была!

И Тарпановка, и Заречная – все без огней ещё, того и требовалось. А на дойку успеет, ещё раньше Кутырихи явится... Свет у деда Устимова. Вот не спится человеку. И окно настезь. А потому, наверное, и жив до сих пор.

Ширкали, бухали сапоги, разогревалась помаленьку. Надо уговорить Ваньку на село перебираться. Оттяпать домик чей-нибудь как бы от колхоза. Ну, до весны. За мостом – сразу на Нижнюю и... ах, гадёныш слюнявый! будет тебе и «приём», и «передача».

На мосту какой-то всё равно что зверок с шумом бросился мимо неё, глаза сами собой зажмурились, упала сумка, а когда она оправилась и отняла руки от лица, то увидела почти у ног своих, ближе к левому краю настила, лежащего вниз лицом деда Родиона Устимова. Шёл человек с села, споткнулся и вот лежит теперь... неизвестно сколько лежит. Охнув, она вдруг догадалась о чём-то и понеслась в Тарпановку.

Чуть погода, поёживаясь от ветерка и позёвывая, выехал к мосту скотник Семён Зюзин. Придержав поводья на спуске, он глянул в жидкие сумерки зорче, шепнул «тпру» и совсем остановил Гнедого.

– Опять, блин, – пробормотал, имея в виду зачистившие вокруг странности.

На мосту лежал человек, валялась сумка-пакет и, виляя хвостом, какая-то собака терзала бумажку. Подойдя ближе, Зюзин узнал старика Устимова, турнул Орепья, потащившего какой-то свёрток, и вернулся за подводой.

«Этого хоть на себе не тащить», – подумал, наваливая старика на телегу; заправил ему карманы, оказавшиеся почему-то вывернутыми, в ноги положил сумку.

– Терпи, дед, – сказал деловито, намереваясь доставить его в медпункт, сам прилепился на подшивной доске слева и стегнул Гнедого по бокам вожжами. – Н-но, заблудяга!

Старик помалкивал, и Зюзин от нечего делать залез в сумку, пощупал, что за добыча там лежит. Покопался и понял, что сумка-то, поди, и не дедова. И новая... Конечно, не его.

– Э-э, Родион Палыч! – позвал.

Нет ответа. А не доезжая до Нехаёвых-Смагиных, совхозного спаренного дома, была завалившаяся мазанка... Зюзин остановился напротив, одну бутылку переложил в телегу, а сумку быстро отнёс и спрятал как успел. «Умойся, земля», – подумал.

– Н-но! – закричал громко, как честный человек.

Гнедой бросился рысью, и не успел он придумать художественную версию, как уже подскочили к медпункту. Свет у Зои Неделиной почему-то горел, и сама она, одетая, выходила из двери.

– Вы дедушку с Заречной привезли?

– Ну, – несколько растерявшись, подтвердил Зюзин.

– Заносите быстрее!

И Зюзин начал действовать так, словно полжизни санитаром прослужил. Занёс, уложил деда. Ловко раздел. Бегал снимать влажноватую ещё простынь... «Да не видал, скажу, – определилось наконец у него в голове. – До сумки мне было, когда чуть живой человек рядом помирает?»

А Родион Павлович Устимов был к тому часу уже мёртв. Когда медичка неловко потянула простыню, ещё на один миг открылось запачканное пылью лицо, и Зюзин лишний раз удостоверился: оно улыбалось.

Внеочередная глава

1

Закрепив частично приведённое выше повествования, я собрал на обсуждение подручных, а также и некоторых мордасовских доверенных. Дожидаясь назначенного выходного, нарочно не открывал готовых страниц, чтобы не наводить задним числом лоска, блеска и ясности.

Пожалуй, хватил сейчас насчёт ясности. Её-то как раз и следовало бы причислить к тем немногим (двум-трём) качествам, которые и должны отличать всякую порядочную вещь. Да вот они все: ясность, простота, благозвучие, здравый смысл, тер... гм, пятый номер пошёл... терпимость, уравновешенность, точность, юмор, лёгкость... Похоже, не напрасно зарекалась та девка воды не пить – а ну как дырочку укажет.

Коротко говоря, ни «взрывов хохота», ни даже «усмешки в рыжие усы» я не дождался, а получил кучу упрёков, отступил под натиском ультимативных требований, сделал одну уступку, другую, и так и продолжал уступать, кое-как, наспех вооружив себя жалким соображением вроде того, что уступать приходится не живым людям, дующим чай с пряниками, а, скажем, принципу... принципу достоверности, который доказывается и прямо и от противного, а я так ещё и на изнанку указываю.

Теперь-то видно, что подручные мои без особых усилий отвоевали себе полную анонимность, а с нею и всю достоверность уничтожили; вырезали несколько главок целиком, назвав их «искажёнными до безобразия», «похабными насквозь», а также «клеветой на народ»; нанесли уйму мелких ранений, которые замазать, сгладить сообща не удалось, а сам я и не сильно стремился. Но при этом, размягчённые собственным разбоем, сами же и билет на всю оставшуюся часть выдали: «Вали, как знаешь!»

– Выходит, никого путней Семёнчика и нет в Тарпановке! Долго он ещё ездить по ночам будет, пить и безобразничать?

– А Ивану как теперь с Манькой жить? И, главное, написано! Так-то он, может, и слышал, да не забивал себе голову, а теперь – всё. И моментально дойдёт!

– А почему Бори Баранкина нету? Молодой человек, работающий, и даже не упомянут!

– Вы, – тут я, помнится, нехорошо, скверно ухмыльнулся, – не смотрите, что мала Тарпановка. Двойников у вас... Нет Бори, зато Витёк Пиндюрин есть.

– То Витек, а то Боря! Это же шофёр, из лома автомашину поднял!

В конце концов Борю Баранкина упомянули. Вот.

– Я понял, – одного осенило. – Жизнь жизнью, а как до бумаги, так, глядишь, игра какая-то. Теперь видно, что игра.

2

Игра! Меня-то уже какой-то год преследует это слово, ставшее осязаемым, вьедливым, как рашпиль, – вопрос и ответ одновременно. Им, что ли, сбит я с оси, с направляющей, если и двигаюсь, то боком, вверх тормашками, на одном колесе? Игра... Существование всех внешних, культурных и общественных форм. Не-жизнь.

Это как сидеть в продуваемом подвале, оглушаться табаком среди хлама над куском фанеры вместо стола, тереть глаза слезящиеся, чувствовать спиной проникающий холод декабря, слышать, кажется, из самих труб, на которые что-то там заземлено в квартирах, «обождите... нет, обождите... идёт голосование, вы сначала проголосуйте... по мотивам?... хорошо, включите четвёртый микрофон», и снова вертеть сигарку из вылущенных окурков, разгонять шарик авторучки по подошве и писать: «Наступила тихая, таинственная ночь», – вспоминая розановское, что весь наш парламент есть, в сущности, бодливость безрогих коров, и забывая

как бы незначашие скорби и туги, от которых на ум не пойдёт и эта тема, и эта форма, и этот смысл.

Жизнь проста и безыскусна, не обладает смыслом, она – необходимость, прокормление себя и близких, самых близких, и не гнетёт. Гнетёт – игрока. Он им родился, случайно взят необходимостью и не сегодня завтра ждёт разгадать свою роль. А разгадки нет, и он не знает, что её и не будет, если самому не сочинить или не подскажет сочинённое уже.

И по какому такому праву игроки вмешиваются в жизнь?

3

Когда уже разбирали шапки, Вениамин Андреевич Бизяев дал знак, что вернётся. Хотел ли я? Но он вернулся.

– Я на полчаса всего, – сказал. – К приятелю, словесником тут в школе работал, обещал с ночевой завалиться. А завтра с грузтакси обратно.

– Так мы же знакомы! Можно было и его сюда пригласить, как же я... Правда, он сторонится компаний.

– Сторонится, да. – Мы были снова на опостылевшей за полдня кухне. – Тут ребята сказали, ты пробовал книгу собрать? После «Насиженных мест» логично.

– Пробовал. Вон она, – я показал на папки, второй месяц венчавшие стопу на кухонном шкафу. – Остаётся титан протопить!

– Я знаю, отказали.

Он знает! Выходит, все знают? Отказали, да.

– А на чём основано? Не очень я так... бесцеремонно?

– Что вы! Устарело. Скучно. Нет бумаги. Другим даже из типографии возвращают. Да почитайте рецензию... если не выбросил... Вот.

Не выбросил. Мог изорвать, сжечь бумажку, но выбросить... из головы? из печёнок?

А как принимались «Насиженные места»!

«Рискну предположить, и думаю, что не ошибусь: перед нами одно из первых произведений художественной литературы, исследующее наши дни, нашу жизнь. Пока ещё никто из маститых не написал сколько-нибудь значительного произведения на эту тему. А вот наш земляк рискнул. И – удачно», – это брат-районщик, от души.

А было и столичное: «Тщательный и очень честный анализ взаимодействия сельских жителей с тем, что несёт им сегодняшнее время... тенденция главенства жизни над литературной умелостью и искущённостью автора... тот тип литературного сочинения... в сонме различных „разоблачений“ и „покаяний“, в „литературе крика“ повесть эта честно делает своё рабочее дело, она предупреждает, говоря о тех опасностях и вывихах, которыми чреват сегодняшний „судьбоносный“, как нынче принято говорить, момент...»

А ещё письма читателей, целая куча: «Что мне больше всего понравилось? Самобытный, колоритный язык. Очень смелые размышления, высказывания; яркие, реалистические зарисовки. Бог наделил Вас...»; «Читала повесть по кусочкам, специально растягивала радость...»; «Не хотелось расставаться с вашими героями...»; «Читала, как будто пила воду из чистого родника...»; «Больше всего покоряет Ваша искренность и правдивость в описании нелёгкой жизни земляков, любовное отношение к человеку...»; «В коротких описаниях природы, порой строчке, чувствуется поэзия... гражданская позиция».

И вот, когда я собрался прийти к ним с книгой, привести всех, кого породил лет за десять, восстановив урезанное и отбросив пристёгнутое, мне сказали: опоздал, это уже никому не нужно. И о тех же «Насиженных местах», пока я докуривал под форточкой, Вениамин Андреевич читал: «Два года, вроде бы, небольшой срок, но время ныне настолько чудовищно спрессовалось и ускорилось, настолько изменились и мы, читатели, наше восприятие и литературы, и действительности, что ныне не просто понять даже такую вещь, как наш преж-

ний интерес к этой повести. Неужели нам достаточно той бодрой авторской иронии в живописании благоглупостей в проведении перестройки на селе? Описания комедии «свободных» выборов, дебатов на колхозном собрании? Здорового здравого смысла и изобретательности, с которыми мужики противостоят идиотизму и кампанейщине нововведений? Наверное, всё так и было, и два года назад нам всё это казалось и свежим, и социально заострённым.

Что же ныне? Ныне вся эта тематика – общее место публицистики. Никакой «злобы дня» для читателя в повести не остаюсь. Что же касается литературы, прозы, то стало очевидным то, что прежде как бы прикрывалось социальной остротой и иронией: не больно далеко ушла она от языка и стиля «литературы о колхозной деревне», хотя знак и направленность её прямо противоположные. Явственно проступают в повести структуры не столько художественные, сколько публицистические, очерковые, даже газетно-штампованные: «А между тем после майских холодов...»

– Это же надо было поискать! – усмехнулся Вениамин Андреевич. – И дальше... Да это же, насколько я помню, из одной пародийной главы понадёргано. Разве так честно? Или уж все подчиняем решённому: отказать? Тебе знаком рецензент?

– Давно. Даже книжечка его есть. Основательная. Показать?

– Нет-нет, – Вениамин Андреевич помахал ладошкой. – Когда мастера о мастерах – это я ещё почитывал, а критику – это же какой-то параллельный мир.

– Да вы читайте. Лично я ни на кого обиды не держу. Тут другое. Мне не показалось, что он на отказ был сориентирован.

– Ну, хорошо, посмотрим.

«Понятно, что штампы и казённая лексика употреблялись здесь в специальных целях («Ну-ну», – покивал мой гость), для сатиры, только вот время прошло, и это уже не веселит, а набивает оскомину своей худосочностью.

Что делать, большинство книг живёт не столь уже и долго, многие вообще не востребуются, у этой же повести была жизнь, у автора была удача, а это вовсе не пустяк по нынешним временам, когда социальная проблематика меняется уже не по годам и месяцам, а по неделям.

Вот это и есть, пожалуй, главное, что необходимо понять автору и многим другим писателям: литература, так или иначе ориентированная на социальную проблематику, на злобу дня, на «критику действительности», «вскрытие недостатков», сегодня уже не только запаздывает, устаревает на корню, но и как бы бессмысленна в море социальной публицистики всех направлений. «Попадание в струю» всё случайней и кратковременней».

– Ладно, достаточно, – Вениамин Андреевич снял очки, отложил недочитанную рецензию. – Разговор, с которым я вернулся, вроде бы потерял актуальность, – он улыбнулся. – Как там в «Насиженных местах»? «Не плагиатничай у народа»?

– Ну. Народ не виноват, что умеет писать только заявления и жалобы.

– Пока тут гомонили, я всё пытался понять, для чего ты собрал нас. Мне показалось... не буду касаться прочитанного... я подумал, что уже в процессе у тебя появились какие-то серьёзные сомнения, какое-то было внешнее воздействие... Ну, вот так, казённо, зато точно, кажется. Значит, рецензия?

Смешок у меня получился несколько нервический, пришлось подсобраться – передо мной был уже не один из подручных. И праздник, может быть, только начинался.

Короче говоря, на квартиру к приятелю-словеснику я провожал Вениамина Андреевича уже под редкими уличными фонарями, а часть пути и вообще во тьме египетской.

С какого-то момента мы перестали формулировать фразы и заговорили, как, может быть, отец и сын из доброго семейства. Вениамин Андреевич подкидывал точные, безжалостные вопросы, и лучшим итогом разговора нашего было бы уничтожить всё уже написанное и «мужественно» и основательно замолчать. Помолчать хотя бы, оставить в покое письменные принадлежности. Подумать. Почитать хорошие – заведомо хорошие – поднакопившиеся

книги. Устроить быт. Поискать, пусть с тысячью оговорок и реверансов самому себе, но хотя бы примериться к другой точке приложения своих, скорее всего, действительно, средних способностей. Но я говорил, что иначе как текущими, пережитыми фактами, всем известными событиями, я не могу оформлять свои мысли, решать свою художественную задачу – и в этом, мы соглашались, что-то было. Подлинное, достоверное. Но обоим было ясно и то, что в итоге всегда останется повод тому же Рецензенту ещё раз продемонстрировать свою пронизательность и свою правоту. Коварная штука – текущий момент, современный материал!

– А не далеко мы заехали? – усомнился Вениамин Андреевич. – Написанное должно быть прочитано. Но до конца дописанное, до точки, до того места, где ты сам захотел точку поставить или прерваться на полуслове. И обязательно напиши, что Тарпановка на другой же день знала, что Родион Павлович сказал Мясоедову, – Вениамин Андреевич с хрипотцой засмеялся. – Сам Никита добросовестно и рассказал. Не ново, конечно, но тут важно, до чего сам старик Устимов дошёл: смерти нет! Умирание, ожидание смерти, приготовление к ней начинается с жизнью, но ею же и заканчивается: конец жизни – конец умирания. Нету смерти! Есть смертное – сама жизнь!

Бизяев что хотел, то и делал со мной.

– Володя Суриков приезжал, – говорил он уже дорогой, – «Вёрсты» подарил, жиденькое такое издание. Он, видишь ли, полу-демократ – вот ещё позиция! Самому смешно. И всё о прорыве. Я говорю: а Тарпановка? Мордасов? Ему не страшно: потом подтянутся. А если захлебнётся прорыв твой без тарпановок и придётся возвращаться? Даже не на исходную, вот в чём дело. В истории останется попытка! И гордо так... И, чувствую, я не убедил его, что не попытка, а несмываемое пятно, проклятье останется на социал-, полу- и просто демократах.

Он звал меня к своему приятелю, раз уж мы знакомы, но я-то помнил, что компаний тот сторонится. И побежал домой. Бегом. Задыхаясь. Ещё и не знал, что сделаю: изорву ли всё, или сяду писать дальше.

И вот заканчиваю эту внеочередную главу.

Уже растиражирован призыв к непрофессионалам, к средним и серым, отрешась от амбиций, включаться в сильное культурное строительство на местах, обнаружена страшная правда, кем и для чего мы, серые, средние, были призваны в литературу, и намерения ведущих изданий сформулированы: поднять вкус, ужесточить требования к тексту. И всё мне понятно и, в общем-то принято, а всё же завтра я буду писать новую главу. Или другую вещь. Почему?

А потому, наверное, что остаюсь любящим вас тарпановцем.

Лёгкий сон в саду зелёном

1

Что-то опять не заладилось с мехдойкой, девчата по три, а кто и по четыре коровы додаивали вручную, и Семён Зюзин, кособочась на Гнедом, истрачивая уже терпение, собирал издёрганных животных за нижними воротами карды. Изредка вскрикивал диковатой птицей, и тогда Верный уносился заворачивать глупую скотину от воды. Пруд был отравлен, ветврач всюду натывал флажков и тем окончательно «обеспечил» и без того сумасшедшие, самые первые дни на летней стоянке.

Отрава пришла из Вдовиной щели, куда и соседний «Маяк», и дальний «Прогресс» много лет валили удобрения, гербициды, ветеринарную химию и карантинную падаль. Водам отсюда не было выхода, наоборот, они там, действительно, как в сквозной щели исчезали, да нынешняя весна переполнила и не такие котлованы. Вот и пробился из карьера ядовитый ручеёк, помедлил, набухая, и потёк не к безобразникам, а мимо Вязминой дачи в Сухой – тарпановский пруд.

Двух справных коров оттащили трактором на свой скотомогильник, прежде чем ветврач сообразил, откуда пришла напасть. Вдовину подпрудили, а Сухой все ещё не спускали – держало то, что в низовьях перегороженной лощины стоял второй гурт, и следовало пока хотя бы там сохранить воду в приблизительной чистоте и годности.

Зюзин имел на происшедшее свою точку зрения. Он сказал, а потом и сам твёрдо уверовал, что те две коровы прямо из ручейка хватанули, а вода в Сухом какая была, такая и осталась, и незачем его распружать и лишаться на все лето водопоя.

– Если не отравленная, возьми и напейся, – подначивали девчата, особенно эта Швейка.

– Безалкогольное не употребляю, – отвечал Зюзин и посылал на пруд Верного; собака лакала с камушка, потом весь день работала на пастьбе, и все удивлялись. – Да с чего ж ей подыхать, если нормальная вода, – сердился на бабью тупость Зюзин. – Или, думаете, с полей мало этой химии в пруды, в Молочайку каждый год стекает? Вдовина щель им виновата!

Такую он проводил наглядную агитацию во все карантинные дни, но сказать, что и сам лет шесть назад отвозил в карьер полкузова драных мешков с какими-то спёкшимися гранулами, не сказал – обстановку это мало разрядило бы, даже наоборот.

– Такое будет, что копнёшь землю, а оттудова кровь, мамака читала, – ку-дахтала экономка Попадейкина.

– Свет-конец, девки!

А сегодня Зюзин свой личный предел почувствовал, совсем рядом, вот-вот, если не явится Баженов, как обещал. Он и вообще-то болел – передоверился, наверное, майскому солнышку, полежал на сырой земле, и теперь знобило его, и в седле он едва держался.

– Куд-да, сволочи гадские! – выкрикивал с болью. – Паси, Верный!

И поглядывал на дорогу. Мишке Баженову он сказал, что мешок будет лежать в вагончике, и тот обещал явиться за ним сразу с «лекарством». И вот всё не являлся. «Ждёт, наверно, когда доярки на село вернутся, – сообразил запоздало. – Чего их ждать...»

– Эй, ...ок! Да гони ты их за ради бога от пруда! – услышал Зюзин пронзительный крик Маньки Швейки и, круто повернув Гнедого, погрозил кнутом; какой дурак только прозвища выдумывает: ...ок! – и на всю степь.

Но, кликнув Верного, погнал всё же, направляя стадо вокруг пруда к Вязминой даче. Болтаясь в седле, время от времени посматривал на дорогу и назад, на стоянку. Молоковоз с экономкой уже отъехал, расторопные девчата уже маячили за окошками автобуса, но двое ещё возились с доёнками возле выкипавшего котла.

На перегоне через подсохшее руслице мешкать было нельзя, Зюзин собрал свои все силы и в мыло загнал Верного. Миновали. Теперь можно было пустить коров на самоход и остановиться. Он повернул Гнедого и увидел только лёгкую пыль за автобусом. Долго смотрел ему вслед, думая, что спасение теперь рядом.

На опустевшей стоянке вдруг раздались тяжёлые удары по железу, и Зюзин аж вздрогнул. Быстро глянул туда. Так и есть: Правая Рука Морозов дождался, пока схлынет народ, и взялся чинить мехдойку! Вот приедет сейчас Мишка – и что? не станешь же при этом...

– Сто лет один будет корячиться, – сердито пробормотал Зюзин.

Но Баженов находчивый – и это его на какое-то время успокоило. Проехал немного за стадом. Остановился. Нет, пустая была дорога... А со стоянки долетали теперь частые и лёгкие удары. «Он же без транспорта, – подумал о Морозове. – Значит, жди, кто-нибудь прикатит, не до вечера же его оставили».

И тут на горизонте, где дорога вниз по Скупой горе уходила к Тарпановке, нарисовалась долгожданная точка.

– Явился, – вырвалось из самого спёкшегося нутра: точка быстро приобретала очертания грузового мотороллера с седоком в танкистском шлеме.

Подождав, пока мотороллер приблизится к повороту на стоянку, Зюзин снял кепку и начал кругами махать ею над головой. Мишка знак понял, сворачивать не стал, а прямо по бездорожью двинулся к нему. Мотороллер трещал, раскачивался, но ехал и даже отравленное русло преодолел с ходу.

– Чего ты? – спросил Мишка, не слезая с техники и не глуша мотора. – Нету?

– Как нету? Чистый ячмень! – не в меру горячо успокоил его Зюзин. – Я тебе крапивный мешок набил – не увезёшь на этой трещотке!

– Да и я тебе не квасу привёз, – усмехнулся Мишка.

– Правая Рука там, – Зюзин ткнул кнутовищем. – Но скоро уберётся, – добавил поспешно.

Мишка привстал на мотороллере, окинул взглядом стоянку – оттуда как раз опять долетели частые удары, – вздохнул.

– Болеешь, что ли? – спросил.

– Спасу нет, – признался Зюзин. – Вот-вот конец.

– Тут будешь?

Семён Антоныч стал бы и не слезая с Гнедого, но рождён он был христианкой.

– Поехали в сад, – предложил, – два шага осталось, – и показал на Вязьмину дачу. – Сам-то как?

– Да можно, – протянул Мишка и, газанув, отъехал.

– Я следом! – крикнул Зюзин и, тратя остаток сил своих, пустил Гнедого на рысь, чтобы поскорее сбить стадо, расколовшееся надвое; самые упрямые коровы попробовали его кнута с шёлковым нахвостником, и, сказав Верному «паси!», он пустился по следу избавителя.

Летом Вязьмина была всё равно что ресторан по сравнению с подворотней, а сейчас ещё рано – ни одичавших яблочек, ни грушек-дулечек. Даже и цветки были редки на поломанных, с куцыми кронами, деревцах. Плодовый сад окружали осины и ветлы, попадались кое-где берёзки, а на месте хозяйского дома, позже – колхозной сторожки, бушевали терновник, шиповник и прочая колючесть и непролазность. Брошенный был сад, но приют давал до сих пор. Выпростав удила, Зюзин оставил Гнедого возле мотороллера и начал подниматься на террасу сада. Может быть, сразу тут был уступ в котловине, обращённой открытой стороной к югу, или хозяева искусственную насыпь делали, но площадка была ровной, от северных ветров укрыта капитально, а в заросшем овражке, пожалуй, и сегодня можно было раскопать давно угасший родничок. Всё имелось для устройства жизни и труда, только работников не стало. То яблоки с мужичий кулак рождались, – Зюзину казалось, что он сам помнил это время, –

а теперь разве что с детский кулачок и найдёшь, да и те сорвёт наезжающий люд до спелости... Теперь он мог позволить себе размышлять отвлечённо.

Избавитель уже полулежал на пригорке в самой середине сада, открытой солнышку из-за поломанных и большей частью не растущих яблонь; отсюда и пруд, и стоянку было видно поверх зелёного ограждения как на ладони.

– Вясна-а, – блаженно протянул Мишка, стащил с головы шлем, пригладил, а потом рас-трепал задиристый, как у молодого, чуб.

– Щепка на щепку лезет! – мелко засмеялся Зюзин, опускаясь рядом на колени; его ещё знобило, и он даже не расстегнул брезентовый дождевик. – В субботу Вагонке мешок завозил, так, сучка, во все стороны жопенцией вертит: может, зайдёшь, говорит...

– Натурой хотела отделаться! – хохотнул Мишка, и стало ясно: никуда он не торопится.

Зюзин зябко повёл плечами, достал из кармана плаща сплюснутую алюминиевую кружку без ручки.

– Однако, чиличок! – оценил Мишка полезный объём посуды и вытащил «ноль-сём-десят-пятью» с обвязанным по-аптечному горлышком.

Первую, помянув все земные муки, Зюзин вытянул до самого доньшка. Всё выцедил: и табачный сор, и какие-то крошки, отлепившиеся и всплывшие со дна. Мишка вытер после него посуду тряпочкой, похожей на носовой платок, налил и хладнокровно выпил сам. Зюзин уже тянул «примача». Прислушиваясь к организму, он готов был продолжить весеннюю тему, рассказать одну из прежних историй, связанных с бабами, но, не в силах отделить действительный случай от придуманного, покамест молчал. Память у него была в основном словесная, и, сбрыхнув один раз, он уже сам верил в сказанное и легко вспоминал подробности. Но сейчас и с медицинской точки зрения полезно было помолчать, переживая быстротекущий кризисный момент.

– Чего потух? – лениво спросил Мишка. – Не прививается? Сам видишь, у меня без обмана: что себе, то и людям.

Зюзин уважительно кивнул, не выпуская изо рта сигаретку.

– Вакум, что ли, не идёт? – спросил Мишка, глядя в сторону стоянки. – Знакомая песня... Может, помочь ему, чтоб быстрее смотался?

– Он без транспорта. Счас, гляди, «Фитиль» прискачет.

– Отделились – пусть теперь знают, почём молочко... Да не томись ты, наливай сам.

По бумажкам, Мишка теперь вольный мастер по ремонту бытовой техники. Действительно, под сараем у него целый склад брошенных хозяевами машин, и в бачках от стиральных он солил грибы, капусту, заводит брагу – они ведь из нержавеющей стали. У Мишки всегда есть, и кто знает – помалкивает, кто не знает, но догадывается – тоже пока молчит, кто не знает – жалеет земляка, бросившего твёрдый заработок, а кто не знает и не догадывается – так и думает, что индивидуальная трудовая деятельность – это и авторитетно, и выгодно, и хорошо; ведь не скажешь по Мишке, что семья его последний кусок доедает, а сам он – ущемлённый в правах оборванец. Да свои права и обязанности Мишка знает лучше любого законника!.. Размышляя, Зюзин прислушивался, как расходится целебный Мишкин напиток.

– Ты чего-то раскис, Семён, – недовольно проговорил избавитель. – Гляди, не перелей. – И помолчал, играя веточкой. – Куда мешок-то дел?

– В ящике, как в сундуке!

– Съездить, забрать, что ли, – подумал вслух Мишка. – Вроде как подсказать этому слесарю – и забрать... В вагончике, говоришь?

– Всё, Миш, поехали! – путаясь в плаще, Зюзин поднялся на ноги. – Поехали, Миш! За своим, не за господским...

«Ноль-семьдесят-пятью» с надетым на горлышко «чилячком» он спрятал в коряге и припустил кособоко за Мишкой; в танкистском шлеме тот нигде не пригibal голову, потревоженные им ветки раза два ударили Зюзина по лицу, но он не обиделся, а рассмеялся.

Гнедой подбрасывал травку вокруг мотороллера, фыркая и брэнча уздечкой.

– Ждёт, – ласково проговорил Зюзин, но, глянув в сторону стада, посуровел. – К Вдовиной щели поёрлись! Разжалуем Верного!

Плащ мешал взобраться в седло, и тогда он проделал это из кузова мотороллера. Вдел сапоги в стремяна и посмотрел на Мишку сверху.

– Поезжай на стоянку, – распорядился, как самому показалось, отчётливо и внятно. – Заверну скотину, и будем грузиться.

Он поднял кнут, Гнедой тронулся с места, и лёгкий ветерок умыл его разгоревшееся лицо. Отъехав и все ещё чувствуя на себе Мишкин взгляд, Зюзин достал сигарету и закурил на ходу. Долго держал потухшую спичку двумя пальцами на отлёте, потом выбросил; степь за ним ещё не горела ни разу.

2

Очнулся Зюзин – вроде в легковой едет. Вытянулся, лежит, и его мягко покачивает. Но мотора не слышно, только колёса поют, поскрипывают. Открыл глаза – и увидел чистое небо, а по бокам – древесные ветки зелёные. Сладкий, будто от портвейна, запах зашекотал ноздри. «Прямо рай, – подумал Зюзин, – если он есть».

– А как же! – прозвучал за изголовьем Мишкин заносчивый голос. – Вечером заезжайте – поделимся!

– А кого везёшь? – яснее послышалось сбоку.

– Да вроде Зюзина. Был такой мужик в Тарпановке.

«Издевается он, что ли», – подумал Зюзин.

– Из дому заехал в старый карьер ила на пробу взять, – разговорился Мишка. – Копнул лопатой – дыра! И этот лежит... как египетский царь. Даже окурок изо рта торчит целенький!

И Зюзин тут же почувствовал этот окурок, аж челюсти свело, как зажал он горчашую гадость.

– Стой тогда, дай посмотреть!

– Тпру-у, Мирный.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.